

Павел Амнуэль

И НИКОГО, КРОМЕ...

Я. Больше никого. И ничего.

Может, существует всё, кроме меня.

Возможно, правильны обе точки зрения.

Слышу, чувствую, иногда кажется, даже вижу, хотя и понимаю, что это лишь отображение звуков в известных мне зрительных образах. Воображаемое, но, как мне кажется, совпадающее с реальным настолько, что я могу сказать, в каком платье пришла сегодня Лера. Лерочка. Валера. Валерия. Дочь.

А они уверены, что нет меня. Представляю себя их глазами. Больница. Палата. Медицинская аппаратура. Кровать. На кровати – существо, которое было человеком, но теперь нечто, не реагирующее ни на какие раздражители. Пока еще живая пустая человеческая оболочка. Две капельницы. «Запредельная кома, степень четыре. Три балла по классификации Тиздейла и Дженнетт».

Сегодня Лера приходила чуть позже обычного. Утром, после гигиенических процедур (влажное обтирание, физиотерапия, смена памперсов... ненавижу). Гладила мою руку. Трогала пальцы. Плакала. Мне казалось, я видел ее покрасневшие глаза и челку, спадавшую на брови. Игра воображения. Знаю, что дочь поменяла прическу месяц назад, Алена об этом с ней говорила, я слышал. Лера пожалала мне пальцы, и я ответил, но она, конечно, ничего не почувствовала, мои пальцы лежали в ее ладони так же безжизненно, как вчера. Неделю назад. Месяц. Двести тридцать семь дней.

Дочь держала меня за руку и тихо говорила о том, что Кен хотел ее поцеловать, и она этого хотела, а он смутился, у него комплекс, «но я его все равно люблю и не знаю, что делать».

Я хотел сказать... И сказал. Мысленно. Если бы дочь могла услышать, я кое-что объяснил бы ей о психологии закомплексованного юноши. Сам был таким Кеном, боялся прикоснуться к девушке, и если бы Марина с третьего курса не проявила инициативу, не знал бы вкуса поцелуя до знакомства с Аленой.

Помолчав, Лера произнесла фразу, отделившую прошлое от будущего. Конечно, дочь не подозревала, насколько фраза неотвратима. Для нее это была надежда. Для меня – ожидаемый финиш.

«Мама, наконец, уговорила доктора Гардинера применить его новое лекарство».

Уговорила, значит. Алена. Пусть Лера так и думает, хотя на самом деле Гардинеру, как я понимаю, стоило немалого труда уговорить Алену, причем так, чтобы ей казалось, будто она проявила инициативу.

Нужно было успокоиться, и, когда дочь ушла, я пробежал доказательство шестой теоремы инфинитного исчисления. Интересно, что показывает энцефалограмма, когда я размышляю? Вялые подъемы и спады электрической активности в мозжечке или где там в мозгу, по мнению врачей, бродят мысли и образы? Скорее всего, ничего не показывает. Даже наверняка – ничего. Я мыслю – следовательно, существую. Для себя. В себе.

К сожалению, в школе я не интересовался биологией, да и потом у меня не было никакого к ней интереса. Даже не знаю толком, чем ДНК отличается от хромосомы. Учили в школе, но с тех пор много воды утекло. Уверен: если мне было бы жизненно необходимо вспомнить школьные сведения из биологии, я смог бы это сделать. Конечно, чего не знал раньше, о том и вспомнить не могу, хотя... Если верна третья теорема (она верна, иначе я не смог бы доказать четвертую и пятую), то знать я могу столько, сколько не знают ни доктор Гардинер, ни его коллеги. Могу. Теоретически. Наверняка и практически смог бы, но не пытался. Страшно? Да, боюсь потерпеть поражение, боюсь понять, что все шесть теорем были доказаны неправильно, и на самом деле (что означает «на самом деле» в моем случае?) ничего из того, над чем я размышлял последние месяцы, не существует в

природе и является математической фикцией. Необыкновенно красивой. Может, самой красивой за всю историю (как иначе, если я этой проблемой занимался!), но всего лишь и только – математикой, хотя Фрэнк Типлер из Тулана полагал, что всего лишь и только математикой является весь физический мир.

Дверь открывается почти бесшумно, вошедший старается не производить никаких звуков. Почему? Никто из входящих в палату не соблюдает тишину – зачем, если больной не может ни слышать, ни видеть, ни, тем более, осознавать?

Гардинер обычно входит, насвистывая свою любимую мелодию Лея из «Истории любви». Хотел бы я знать, о ком он в это время думает. Об Алене? С какого-то времени, насвистывая, он точно думает об Алене, и я подозреваю – что именно. Могу даже вспомнить с какого времени: час и минуту, когда он первый раз взял мою жену за руку – я это почувствовал, потому что рука Алены лежала на моей груди, а он положил сверху свою ладонь, пожал, Алена мягко ответила на пожатие; наверно, они посмотрели друг другу в глаза, но этого я не могу знать наверняка.

Вошедший молчит. Ступает так тихо, как может, но я понимаю, что вошла женщина. Очень слабый – на пределе восприятия – запах духов. Не Алена. Не Лера. Не кто-то из медсестер – они ходят в тапочках, не пахнут дорогими духами и не стараются быть тихими, как ангелы.

Женщина подходит к кровати, и я слышу ее дыхание. Она нервничает. Мне кажется, она то и дело оглядывается на дверь, хотя как я могу быть в этом уверен? Ощущения опережают знание, но не помню случая, чтобы знание не последовало за ощущениями – всегда появлялась возможность подтвердить интуитивную догадку звуками, чьими-то словами, прикосновениями; информацией, которой реальный мир снабжает меня, несмотря на нежелание иметь со мной что-то общее.

Женщина не хочет, чтобы ее застали в палате. Она не старая (сужу по дыханию), но и не очень молодая (судя по запаху духов, от которых Алена отказалась два года назад, потому что они перестали быть модными). Высокая (легко дотянулась до противоположного края кровати и поправила спадавшее одеяло) и худощавая (будь она толстой, коснулась бы меня животом).

Женщина наклоняется и целует меня в губы. Прикосновение мимолетно, поцелуй скорее лишь обозначен, но у меня сбивается дыхание, она может это увидеть, понять, почувствовать. Нет. Наверняка ни одна линия на самописцах (понятия не имею, как они выглядят, и что видно на экранах на самом деле) не сдвигается, не меняется ни один фиксируемый параметр моего состояния.

– Пожалуйста, – шепчет она, и мне кажется, что звучит весь воздух в палате: такое ощущение возникло у меня однажды, когда я оказался внутри большого колокола, стоявшего в лаборатории Биркесмана для исследования резонансных явлений.

– Пожалуйста, – повторяет она, и мне кажется, что время возвращается вспять к уже прошедшей секунде – чтобы я расслышал, воспринял, понял сказанное лишь один раз слово. – Хочу, чтобы ты жил. Я люблю тебя. Не уходи насовсем. Пожалуйста.

Она повторяет фразу восемь раз, и с каждым разом слова звучат тише, пока не становятся неотличимы от молчания.

Интуитивно я понимаю, почему это происходит. Но не хочу (боюсь?) впускать догадку в сознание.

Женщина уходит так тихо, что шагов ее я на этот раз не ощущаю вовсе.

Из коридора доносится шум, и я с тревогой думаю, что мою неожиданную гостью увидели выходящей из палаты. Кто-то из сестер или врачей задает ей вопросы, на которые она, возможно, не хочет или не может ответить.

В следующую секунду осознаю ошибку: дверь стремительно распахивается, и входят двое. Я давно узнаю обоих по шагам и, главное, громким голосам. Симмонсу и Гардинеру не приходит в голову разговаривать тихо, входя в палату. Зачем, действительно? Больному в глубокой коме ничто помешать не может.

– ...И на восьмой минуте забил красивейший гол, – продолжает фразу Симмонс. Вчера было воскресенье, и профессор, конечно, смотрел игру «Ливерпуля» не знаю с кем, а гол забил, безусловно, Мердок, о своем любимце Симмонс говорит с придыханием. Гардинер футболом не интересуется и отвечает невпопад:

– Остин, я переслал вам эпикриз Лестера?

Один стоит слева от кровати, другой – справа, они обмениваются какими-то бумагами, лист планирует мне на живот, и Гардинер поднимает его, сильно ткнув в меня пальцем.

– Да, файл в компьютере. Ну, как вам это?

– Нормально. Я потом еще посмотрю.

– Жаль, Невилл, такая красота проходит мимо вас.

– Красота? А, вы о голе... как его... Мерчисона?

– Мердока. Он с подачи ...

– Да-да, я понял. Скажите лучше вот что. Миссис Волков попросила меня использовать ницелантамин, и я нахожусь в некотором смятении. Скажу иначе: в большом смятении.

Симмонс молчит, я не слышу никакого движения и представляю: он изумленно разглядывает стоящего напротив Гардинера.

– Откуда ей известно о ницелантине? – резко (с визгливыми нотками в голосе) спрашивает Симмонс и роняет мне на живот что-то не очень тяжелое – похоже на папку с бумагами. Каким взглядом профессор смотрит на Гардинера, с которым, насколько я понимаю их отношения, никогда не был дружен? Скорее, они коллеги-соперники: оба метят на пост заведующего отделением, старик Мариус на пенсию пока не собирается, но его тихо сживают, о чем сестры не раз судачили при мне, полагая, что плотно закрытые двери палаты охраняют их от посторонних ушей.

Теперь молчит Гардинер, шуршат бумаги – должно быть, он пытается скрыть волнение, неуверенность и какие-то другие чувства, делая вид, что изучает записи в моей медицинской карте. Зачем ему это? Не мог Гардинер сообщить коллеге о согласии Алены, не подготовив ответ на вопрос, который, как он прекрасно понимает, будет задан.

– Не знаю, кто ей сказал, – сухо произносит Гардинер и неожиданно взрывается: – Господи, Остин, вам известно, что творится в отделении, сколько человек на самом деле так и или иначе, в большей или меньшей степени, знает о том, какой эксперимент мы проводим, и сколько могло узнать хотя бы из оговорок Мариуса!

– Да, Мариус... – бормочет Симмонс и поднимает папку с моей груди, будто камень.

Нашел для себя объяснение. Начальник отделения не сдержан на язык, мог и проговориться.

– Какая разница, – вздыхает Гардинер, – откуда узнала миссис Волков? Она попросила меня... да что там «просила»... умоляла использовать препарат, потому что...

– Что вы ответили?

– Что я мог ответить? – Я так и «вижу», как Гардинер пожимает плечами. – Правду, конечно. Она настаивала, и я обещал, что подниму вопрос на ближайшем консилиуме.

– Завтра, – уточняет Симмонс.

– Завтра, – эхом повторяет Гардинер.

– Клинические испытания так или иначе необходимы, – раздумчиво произносит Симмонс после долгой паузы, во время которой перелистывает бумаги, я слышу характерный шорох. Похоже, он уговаривает себя, и ему это удается.

– Вот и я о том же.

– Хотите, чтобы на консилиуме я поддержал эту просьбу?

– Хочу, чтобы вы знали, о чем пойдет речь. Я ни о чем не прошу, профессор Симмонс. Я сам в сомнениях и ничего пока не решил.

Не решил он, как же.

– Хорошо, – вяло отзывается Симмонс. Слышу шаги. – И все-таки жаль, что вы не смотрели матч. Классная была игра.

Прежде чем дверь за ними захлопнулась, я успеваю расслышать часть ответа Гардинера.

– Не сомневаюсь, только мне...

Тишина. Темнота. Отсутствие. Обычное мое состояние.

Эта женщина...

«Я люблю тебя. Не уходи насовсем. Пожалуйста.»

Кто она? Почему никогда прежде не появлялась в моей палате? Почему поцеловала? Мы были знакомы раньше? Она меня знала? Переживала за меня? Кто-то из знакомых Алены? Не Леры. Женщина показалась мне гораздо старше моей дочери. И если она сказала то, что сказала, значит...

Кто эта женщина?

Смутно припоминаю. В тумане. Может, мы действительно знакомы, но почему тогда я не помню? Знакомы настолько близко... «Я люблю тебя».

Я должен вспомнить. Знаю, что вспомню, но бессмысленно напрягать память. Да сейчас и не получится. Эти посещения выбили меня из колеи. Я не успею. Если Гардинер сегодня же начнет... Нет, дождется консилиума. Не станет брать ответственность исключительно на себя. Не потому что совестливый и не из-за страха быть обвиненным. Он ничем не рискует, если больной скончается, так и не выйдя из состояния комы. Принципиально новый препарат, первое клиническое испытание. Минимальный (пока) шанс на успех, но необходимо исследовать все возможности, вот одна из них, а пациент все равно скорее мертв, чем жив. Очень глубокая кома, состояние мозга близко к терминальному. Гардинер ничем не рискует, даже наоборот. Он и в случае неудачи (на которую, безусловно, надеется) получит все дивиденды. Признание коллег: да, первый опыт не удался, больной умер, но это все равно был безнадежный случай. Когда в 1969 году Бернард в Южной Африке пересадил сердце Вакшанскому, обоим было ясно, что больной умрет через неделю-другую. Но Бернард сделал это, и сейчас пересадка сердца – рутинная, хотя, конечно, сложная операция.

Гардинер не за репутацию опасается. Он боится другого: вдруг препарат поможет. Шанс невелик, да. Судя по разговорам, которые велись в палате, вероятность семь десятых процента. Один шанс из ста пятидесяти. Если испытать препарат, взяв сто пятьдесят безнадежных больных в состоянии комы, то один из них придет в сознание (и, конечно, не будет помнить ничего из того, чем были заполнены его дни, когда он выглядел бревном), а остальные сто сорок девять погибнут – все равно они обречены, ну так умрут не через неопределенное время, а очень быстро. Зато медицинская наука сделает шаг вперед в лечении практически безнадежных ком.

Но даже один шанс из ста пятидесяти Гардинера, наверно, пугает. Если я приду в сознание, он своими руками погубит собственное счастье. Он воображает, что Алена – счастье, которое мужчина упускать не должен. Любовь. Следя за тем, как развивались их отношения, я смог составить впечатление о том, что такое любовь для Гардинера, и что – для Алены.

О чем я думаю? Почему неприятные моменты вспоминаются чаще, чем то небольшое хорошее, что происходило за эти двести тридцать семь дней? Почему мне приходят на память разговоры о том, насколько безнадежна моя ситуация, и что в этом состоянии я могу просуществовать много лет, и что, даже если когда-нибудь приду в себя, то почти наверняка останусь дебилом, как больной N, который в две тысячи тринадцатом... или как больная M в тысяча девятьсот восемьдесят девятом. Или... Они перечисляли эти трагические случаи – Гардинер и его коллеги, обсуждавшие у моей кровати шансы на мое спонтанное «возвращение».

Ужасно, но эти слова Гардинер, похоже, и Алене говорил – как это сейчас принято, сурово и без утайки. «Мозг вашего мужа безнадежно поражен. Доктор Волков находится в тяжелой травматической коме и с очень большой вероятностью никогда не придет в сознание. Нужно надеяться на чудо, но вы знаете, как редки чудеса в нашем мире. Пока

сохраняется очень слабая электрическая активность, практически на уровне фона, посмотрите на экран. Безусловно, он ничего не чувствует, зрачки не реагируют на свет. Конечно, жизнедеятельность организма будет поддерживаться, пока консилиум (единолично такие вопросы не решают) не зафиксирует смерть мозга. Да, страховка позволяет, вы ведь будете продолжать выплаты по его страховому полису? Значит, никаких проблем с этой стороны».

«Никаких проблем с этой стороны», – сказал Гардинер Алене через одиннадцать дней после того, как она выписалась из больницы и стала приходить ко мне каждый вечер. Сидела у изголовья и говорила, говорила, говорила, не умолкая, о чем угодно, бог знает какие глупости и чепуху, потому что ей объяснили: с больными в состоянии комы нужно много разговаривать, это, возможно, способствует, нет, не выздоровлению, но помогает быстрее выйти из комы, бывали, знаете, случаи...

«Никаких проблем с этой стороны, и я вам больше скажу, – Гардинер в тот раз впервые, как я понимаю, посмотрел на Алену глазами не врача, а мужчины, и понял, что она красива, умна, и что, хотя она замужем, проблем с мужем не будет. – Даже если бы у вашего мужа не было страховки, лечение все равно оставалось бы таким, как сейчас, потому что ничего больше сделать невозможно. Долг накапливался бы, клиника разбила бы сумму на много платежей. Есть, кстати, фонд Спиллера, который помогает в подобных случаях. Пожалуйста, не думайте об этом, мы делаем все возможное. И невозможное тоже».

Алена всхлипнула, и Гардинер взял ее руки в свои, прижал к груди... Впрочем, тогда я еще не научился распознавать и анализировать звуки, путал звуки шагов со звуками открываемого окна.

И что же? Ничего. Ни-че-го. НИ. ЧЕ. ГО. Все будет так, как они задумали. Консилиум, конечно, примет нужное решение, ведь речь идет о спасении жизни больного! Знаю я их: заведующий отделением профессор Мариус, главный невропатолог профессор Огдон, главный нейрохирург профессор Мортимер... Никого из них я не мог видеть, но слышал каждого, они замечательные специалисты и, безусловно, поддержат Гардинера, потому что на самом деле, если существует хотя бы один шанс из тысячи, что пациент придет в сознание, нужно этот шанс использовать. Никому не придет в голову, что Гардинер рассчитывает на то, что – и теория вероятностей на его стороне! – девятьсот девяносто девять шансов в девятьсот девяносто девять раз больше единицы.

Не думаю, что препарат убьет меня сразу. Мне неизвестны его клинические характеристики, да если бы и были известны, что я понял бы из медицинской абракадабры? Неделя? Месяц? Как это будет происходить? Полное исчезновение электрической активности мозга, отмирание нейронов? Когда на энцефалографе мелкие дрожания перейдут в устойчивую прямую линию, Гардинер произнесет со вздохом: «Жаль. ницелантамин тоже не помог. Мы его потеряли. Отключайте».

А что будет для меня? Потеря памяти? Ощущений? Я даже не узнаю, что перестал жить? Усну. Сейчас я не сплю и не ощущаю в сне никакой необходимости. Перестал спать, когда Гардинер на шестые сутки после аварии констатировал: кома перешла от уровня пять по классификации Глазго к самому глубокому уровню – третьему.

Неужели даже то, что я в панике, никак не отражается на показаниях энцефалографа? Видимо, нет, не отражается. Что они знают о сознании и ощущениях человека в коме? Почти ничего. Люди, вышедшие из комы, не помнят того, что чувствовали. Для них – для меня тоже, если случится чудо и я приду в себя после курса ницелантамина – пребывание в коме полностью выпадает из памяти. В редких случаях сохраняются очень обрывочные воспоминания. Как-то попала на глаза заметка в Интернете: некий Гилфорд... надо же, и фамилию вспомнил, хотя, как мне казалось, забыл сразу после прочтения... этот Гилфорд впал в кому в шестом году, вышел из нее двенадцать лет спустя (к счастью для него, никто не пробовал лечить его новейшими препаратами) и уверял, что все ощущал и слышал. Но что именно ощущал и что конкретно слышал – сказать не мог.

В новостях Би-Би-Си показывали пенсионера... как же его... кажется, Морган. Неважно. После сердечного приступа впал в кому, а когда очнулся через несколько дней, неожиданно заговорил на валлийском языке, которого не знал. Правда, в детстве провел лето у бабушки в Уэльсе, где слышал валлийскую речь.

Не хочу об этом думать. В первые месяцы пытался пробиться в мир, который еще недавно был моим. Бился, как куколка в коконе, кричал, рвал катетеры, торчавшие у меня из носа и рта. Казалось, сойду с ума, и, возможно, действительно с него сошел, потому что неожиданно успокоился, понял... нет, не понял, понимание пришло значительно позже, я почувствовал, что эмоции, переполнявшие меня первые недели после аварии, не то чтобы стали слабее – они и сейчас не уменьшились ни на йоту, – но разум научился ими управлять. Как говорил шекспировский Полоний: «Даже в потоке, буре или, скажем, урагане страсти учитеесь сдержанности, которая придает всему стройность».

Я не учился сдержанности, я ужасался тому, что мне придется неизвестно сколько времени – месяцы, годы? – провести в адовой темноте и неподвижности без возможности быть услышанным, не говоря уж о том, чтобы быть понятым. Я чувствовал, думал, мучился, и неужели абсолютно ничего из моих переживаний не отражалось на показаниях приборов, стоявших в палате и фиксировавших малейшие изменения в работе мозга?

Несколько раз в день заходили Гардинер, Симмонс, иногда Мариус. Мортимер трижды оперировал меня и гордился тем, что ему удалось вытащить меня с того света (лучше, думал я тогда, он бы меня там оставил!), и даже то обстоятельство, что я так и не вышел из комы, не могло заставить его обвинить себя в неудаче. Он выполнил свой долг – сохранил больному жизнь. Я кричал ему: «Разве это жизнь? Не хочу!», но ни один мой вопль, ни одна моя эмоция, ни одна моя попытка хотя бы моргнуть, не отражалась на показаниях приборов, и через два месяца Мариус и Мортимер перестали приходить ко мне. Разве что завтра, после консилиума, они заглянут в палату, постоят, поговорят, согласятся с Гардинером: «Надо испробовать любую возможность, вы правы, доктор!» – и уйдут, позволив этому человеку убить меня самым гуманным способом, какой существует в современной медицине.

Алена проводила со мной долгие часы, рассказывая обо всем на свете и воображая, что помогает мне «вернуться в сознание». На семьдесят третий день Гардинер явился, когда жена держала меня за руку и шептала, как меня любит, несмотря ни на что, а может, смотря. После того, как со мной случилось несчастье, она даже больше меня полюбила, ее любовь меня спасет... и прочую чушь в этом духе она произносила без запинки – будто выучила текст наизусть. Должно быть, посещала занятия группы поддержки, где люди, ничего не понимавшие в моем состоянии, объяснили ей, как нужно себя со мной вести, что говорить можно, а чего нельзя.

В тот день они впервые остались наедине (я-то за свидетеля не считался), что-то случилось с их сознаниями, они этого не поняли, а я ощутил их обоюдное движение друг к другу – будто они, хотя и сидели неподвижно по обе стороны моей кровати, взмыли в воздух, полетели навстречу друг другу, и где-то надо мной их мысли, их сознания, их человеческие сути столкнулись, отпрянули друг от друга и столкнулись опять.

И теперь Гардинер вознамерился меня убить, чтобы Алена стала, наконец, свободна.

Почему-то мысль о том, как несправедливо устроен мир, волновала меня больше, чем осознание того, что вместе они будут, когда не станет меня. Какая мне разница, что случится потом, после фразы: «К сожалению, мы его потеряли, отключайте»?

Я слишком много думаю об этом. Сообщение о завтрашнем консилиуме вывело меня из душевного равновесия, в котором я находился почти восемь месяцев.

У меня еще есть время. Восемьдесят четыре тысячи секунд, и тысячу я уже потратил на эмоции. Становлюсь сентиментальным, а этого быть не должно. Если я до завтра не докажу седьмую теорему инфинитного исчисления и не решу уравнение переходных состояний, которое, доказав теорему, смогу составить, мне ничего больше не удастся. Ничего. Меня не будет.

Или...

Даже этого я не знаю – не доказав седьмую теорему, не смогу сказать, «какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят».

Вот в чем разгадка...

* * *

Первые две теоремы инфинитного исчисления доказал не я. Сформулировать смог, а доказать не сумел. Теорему о нисходящих мощностях бесконечно больших чисел доказал великий Дорштейн. Четыре его статьи о «математике XXI века» – инфинитном анализе или исчислении бесконечно больших величин, – опубликованные одна за другой в течение двух месяцев в «The Mathematical Journal», а затем выложенные в ArXiv, произвели на математическое сообщество примерно такое же впечатление, как на ученых конца XVII века созданное великим Ньютоном исчисление бесконечно малых.

Доказательство четвертой (на мой взгляд, самой важной) теоремы инфинитного анализа пришло мне в голову раньше, чем я сумел доказать третью, а пятую сформулировал, когда мы с Аленой и Лерой купались в бассейне отеля «Хилтон» в Пасадене, куда приехали не столько из-за моего доклада об инфинитных числительных, сколько потому, что я хотел послушать Дорштейна «живьем» и кое-что с ним обсудить. И обсудил – а потом смог доказать третью теорему, получившую после публикации статьи в «Monthly Notices of the Royal Mathematical Society» мое имя. Первая Теорема Волкова, да.

«Разве на ноль можно делить?» – недоумевала Алена, посидев со мной на открытии конференции, где было произнесено немало слов о том, какой расцвет переживает математика, ставшая предметом интереса обывателей, привыкших видеть в телевизоре бородатых террористов и юрких политиков, а не лысых и, чаще всего, косноязычных профессоров самой абстрактной науки во всех вселенных.

«В школе учили...»

«Просто так на ноль, конечно, делить нельзя, – объяснил я, когда в перерыве мы пили с Аленой кофе на веранде отеля и разглядывали сверху только что открытый учебный корпус, изображавший в плане распростертую на земле восьмерку, если смотреть со стороны «Хилтона», или символ бесконечности, если смотреть со стороны бульвара. – Но после того, как Вильсон постулировал бесконечное число многомирий, стало понятно, что, если математики не придумают, как оперировать бесконечно большими величинами, развитие физики застопорится, а развитие человеческой цивилизации может и вовсе пойти вспять».

«Не понимаю», – заявила Алена, и это был первый и последний раз в нашей с ней жизни, когда я подробно изложил жене смысл не только своей работы, но и смысл существования человечества – разумеется, как понимал его сам. Слушала она, поджав губы, с видом Диогена, которому Александр Македонский загородил солнце.

По сути, я пересказал единственной благодарной и влюбленной в меня (в то время!) слушательнице свой завтрашний доклад, дополнив его цветистыми подробностями устройства физических многомирий.

«Вообще-то, – вещал я, – о том, что Вселенная бесконечна, говорили еще древние. Аристотель, например. Из этого следовало, что человек никогда не познает даже бесконечно малой части мироздания, потому что часть эта, пусть и огромная по земным масштабам, все-таки конечна в пространстве и времени. Вселенная, доступная изучению, измеряется конечным числом метров и лет. А всякое конечное число есть бесконечно малая величина по отношению к бесконечности. Получается, что, сколько бы мы ни познавали, перед нами всегда будет бесконечно большой океан непознанного.

Современные идеи многомирия возникли в прошлом веке. Космологи пытались понять, почему наше пространство-время практически плоское, хотя следовало ожидать, что после Большого взрыва Вселенная окажется или замкнутой, (и тогда кривизна пространства-времени положительна), или открытой – с отрицательной кривизной. Для объяснения

парадокса физики придумали инфляцию – процесс чрезвычайно быстрого раздувания пространства-времени в первое мгновение жизни Вселенной.

Сказав «А», физики были вынуждены сказать «Б», а именно: в Большом взрыве родилась не единственная Вселенная, а бесконечно большое число вселенных. И каждая из этих вселенных имеет бесконечно большие размеры, хотя и находится внутри другой, тоже бесконечно большой вселенной.

Это идея инфляционного многомирия с бесконечно большим числом миров.

А еще раньше Хью Эверетт предложил идею ветвящихся вселенных, чтобы объяснить парадокс из области квантовой физики. Каждое событие может произойти так, а может – иначе. Возможно столько вариантов, сколько решений имеет уравнение Шредингера. Но мир-то один! Значит, электрон случайным образом выбирает, по какой траектории ему следовать? «Нет, – писал Эверетт, – если в физическом процессе возможны не один, а два или несколько вариантов развития, осуществляются все варианты без исключения». Но мы-то наблюдаем один вариант! Верно. Просто другие варианты осуществляются в *другой* вселенной. Каждый момент времени Вселенная расщепляется, а поскольку событий каждое мгновение происходит великое множество, то и расщепляется наш мир на великое множество копий. И потому существует не одна Вселенная – та, что представлена нашему взору, – а великое множество вселенных.

Это идея ветвящегося многомирия с бесконечно большим числом миров.

Когда в конце прошлого века физики начали конструировать теорию суперструн и развили ее в теорию плоских поверхностей – бран, то и здесь возникли бесконечности. Бесконечно большое число вселенных на бранах, да и самих бран тоже оказалось бесконечно много.

Это идея квантового многомирия с бесконечно большим числом миров.

В начале XXI века физики изучали не меньше десятка самых разных многомирий, каждое из которых по физическим параметрам и способу возникновения отличалось от других, и в каждом классе многомирий было бесконечно большое число вселенных, каждая из которых могла быть бесконечно большой.

Тогда-то Дорштейн и задал сакраментальный вопрос. «Сегодня, – сказал он, – придумано двенадцать видов многомирий, и все они могут, в принципе, существовать в реальности. Почему же не предположить – это следующий очевидный шаг, – что существует не двенадцать, не тридцать девять и не сто шестьдесят миллионов видов многомирий, почему не предположить, что многомирий тоже бесконечное количество?»

«И тогда, – продолжил он свою мысль, – физика очень скоро не сможет развиваться, как наука, потому что для ее развития потребуется умение оперировать бесконечным числом вариантов бесконечно больших физических величин. Нужно уметь работать с бесконечно разнообразными бесконечностями, в то время, как сейчас физика старается от бесконечностей избавляться. Как классическая физика не работает в квантовом мире, так и классическая математика, оперирующая со времен Ньютона бесконечно малыми величинами, перестанет работать там, где процессами заправляют бесконечно большие числа. Но далеко ли ушла математика бесконечностей после Кантора?»

Дорштейна не высмеяли только потому, что у него уже тогда был огромный авторитет, но многие говорили, что знаменитый математик потерял перспективу (на самом деле он ее обрел!). Для науки оказалось благом, что идея инфинитного исчисления пришла в голову Нобелевскому лауреату – к нему хотя бы прислушались. Выступи с этой идеей молодой, энергичный и не менее гениальный Шведер, его съели бы с потрохами.

А так получилось вполне пристойно: мудрец сказал чушь, но даже чушь, высказанная мудрецом, имеет право быть, по крайней мере, выслушанной, а не осмеянной и забытой. Год спустя Шведер доказал вторую теорему инфинитного анализа, и деление на ноль превратилось из операции, в математике запрещенной, в обычное деление – в школах пока не изучают, а в вузах студенты-математики уже на втором курсе овладевают этой наукой.

* * *

Я много думал о наших отношениях, о нашей жизни *до* и о том, как Алена жила *после*. Вспоминал мелкие детали, на которые в свое время не обращал внимания, а теперь без усилий извлекал из памяти и рассматривал, будто видел впервые. Вспоминая незначительные, казалось бы, слова и поступки, понял, наконец, извечную суть отношений мужчины и женщины. Или мне кажется, что понял. В моем нынешнем мире, скорее всего, искажены пропорции суеты, и, что-то понимая, я не могу быть уверен, что понимаю правильно. Не могу сказать Алене: «Милая, в тот вечер, когда мы впервые поссорились, до меня не дошла причина, а ты не потрудилась объяснить. Ты надевала платье, я стоял рядом и не догадался помочь. Ты бросила на меня взгляд, на который я не обратил внимания, думал о том, что мы опаздываем, а ты возишься, и твой взгляд прошел мимо сознания, для тебя было важно, очень важно, жизненно важно, я и сейчас не понимаю, почему для тебя было так важно, чтобы я потянул замочек на молнии, а я этого не сделал и испортил тебе настроение на весь вечер».

Наш разлад с Аленой состоял из таких мелочей, я их не замечал, и лишь, оставшись наедине с собой и не имея никакой возможности общения, кроме как с собственной памятью, начал осознать (не уверен, что и сейчас осознал до конца), какую стену непонимания строил сам – с помощью мелких, неразличимых для меня в то время, камешков.

Почему я склонен во всем обвинять себя? Потому, что в моем мире нет никого, кому я мог бы бросить обвинение? Может, я и в том виноват, что из-за угла слева неожиданно вывернула машина, ни марки, ни цвета которой я не успел разглядеть, потому что удар последовал гораздо быстрее, чем я мог сообразить и оценить происходившее? Я до сих пор понятия не имею, что это была за машина и почему мчалась, как на пожар. Понятия не имею, кто сидел за рулем: мужчина или женщина. Отделался ли водитель легким испугом, а, может, лежит в соседней палате или погиб? Если погиб, его судьба оказалась лучше моей. Глупая мысль, но она застряла в сознании.

Странно (а может, вполне естественно?), что за двести тридцать семь дней никто ни разу в этой палате не заговорил о виновнике аварии, никто ни разу ни в каком контексте не упомянул его имени, не назвал марку и цвет машины, ни слова не сказал о судебном процессе (должен ведь был состояться процесс, если произошла авария, в результате которой водитель впал в тяжелейшую кому!). Будто все, кто входил в палату, давали зарок не упоминать здесь о случившемся. И Алена, и Лера говорили о чем угодно – о колледже и мальчиках, порванных колготках и невымытой посуде, – но ни разу не вспомнили *тот* день. О том, что Алена получила перелом руки и многочисленные мелкие порезы разбитым стеклом, а Лера только сильно ударилась грудью о спинку переднего сиденья, я узнал из разговоров врачей в первый же день, когда ко мне вернулось сознание (именно тогда – для всех – я впал в кому). Но они ни слова не произнесли о том, какой была вторая машина: марка, цвет, кто сидел за рулем...

Наверно, я и не должен было это знать?

* * *

Седьмую теорему мне нужно доказать сегодня, сейчас. Если первые шесть развивали инфинитное исчисление как математическую дисциплину, создавали принципы, приемы, возможности обращения с бесконечно большими числами и объектами, то седьмая связала математику с физической реальностью. И для ее доказательства недостаточно основного и параметрического аппарата инфинитного анализа, необходимо привлечь законы квантовой физики, некоторые численные соотношения, в частности и те, которые до недавнего времени считались нерелевантными, поскольку приводили к бесконечно большим величинам. Теперь, с помощью шести уже доказанных теорем, можно воспользоваться физически якобы некорректными величинами, чтобы...

Это «чтобы» и является предметом доказательства, а также, парадоксальным образом,

входит в систему доказательства и становится способом.

И потому мне страшно. Будь я здоров, сидел бы сейчас в своем кабинете на факультете математики, видел бы на экране компьютера результат доказательства шестой теоремы, и для доказательства седьмой отправился бы к Хемстеду в биологическую лабораторию – перейти Паркс Роудс и углубиться в аллею. Над дверью горел бы транспарант «Не входить. Идет эксперимент», и, прежде чем набрать знакомый код, я позвонил бы Ноэлю на мобильный и спросил, свободен ли он и может ли уделить мне время.

«Конечно, – ответил бы он и спросил бы: – Сколько?»

Он привык, что я обращаюсь к нему, попав в трудную ситуацию, а такое случалось довольно часто в первые годы нашего с Аленой пребывания в Оксфорде, когда британская финансовая система представлялась мне темным лесом, в котором легко не только заблудиться, но и сломать себе шею, споткнувшись о какую-нибудь корягу.

«С деньгами у меня все в порядке, – сказал бы я, – мне нужна твоя профессиональная помощь. Для доказательства теоремы нужно использовать животное. Обезьяну или собаку».

Ноэль высоко поднял бы брови и пристально посмотрел бы мне в глаза.

«Зачем вам собака, Влад? Хотите обучить ее математике?»

И я рассказал бы ему, насколько вообще возможно без потери смысла рассказать человеку, не сведущему в математике (ровно настолько же, насколько я не сведущ в биологии), о принципах новой физики, возникающей из принципов новой математики, и о том, что без новой биологии ни физика, ни математика развиваться не смогут, а если этого не произойдет, человечество остановится в своем развитии.

Впрочем, о человечестве я, пожалуй, умолчал бы, чтобы мои слова не показались Ноэлю излишне патетическими.

«Эксперимент, – сказал бы я, – заключается в том, чтобы показать животному определенную последовательность изображений, которая мне известна как результат доказательства теорем Дорштейна, Шведера и двух моих. Каким окажется результат, понятия не имею – именно это и должен узнать, чтобы доказать следующую теорему».

«Какое отношение собаки могут иметь к математике бесконечных чисел?» – продолжал бы удивляться Ноэль, и я рассказал бы ему о том, что в инфинитном исчислении, в отличие от дифференциального и от любого другого математического аппарата, использующего конечные числа и конечные множества, необходимо участие реального биологического объекта, чей мозг способен, в силу природных особенностей, функционировать в режиме квантового компьютера. Можно, конечно, использовать и обычный квантовый компьютер, но тогда придется с доказательством теоремы и вообще с развитием математики и физики, подождать многие годы, поскольку сейчас квантовые компьютеры содержат сотню кубитов, в ближайшее время можно рассчитывать на тысячу, и при нынешних технических возможностях это предел. А нужны миллионы кубитов, нужен, короче говоря, мозг.

Уверен, я смог бы убедительно построить объяснения, Ноэль внял бы моей просьбе, и мы с ним смогли бы провести эксперимент, на который я сейчас должен решиться сам, потому что иного варианта нет и не предвидится.

Казалось бы, откуда у меня может возникнуть страх, когда – будто фантомные боли – ощущаешь мелкую дрожь в коленках и понимаешь, что чувствует солдат, когда звучит команда «В атаку!» или какие там еще слова выкрикивает командир, поднимая взвод из окопа под пули противника? Самому странно, отчего я боюсь так, что забываю простейшие вещи: пытаюсь вспомнить значение постоянной Планка хотя бы до четвертого знака, обычно помню до двадцать шестого, а сейчас ошибаюсь даже в порядке величины! Ошибку осознаю минуту спустя, когда «беру себя в руки» и заставляю вообще не думать. Получается плохо, медитация – не мое призвание, что тоже странно. В моем-то состоянии, казалось бы, для медитаций и полной нирваны самое время, и возможностей сколько угодно, но нет, мысли составляют мою суть, и мне кажется... нет, я уверен... что

достаточно минуту не думать (не представляю, как это возможно, но все-таки), и наступит смерть. «Мыслью – следовательно, существую!» – для меня аксиома, не требующая доказательств.

Страх – результат мысли, вызвавшей неуправляемую эмоцию. Понятия не имею, получится ли у меня что-нибудь, если страх помешает представить то, что я должен представить, в точности сформулировать то, что я должен сформулировать.

Неужели даже сейчас приборы показывает то же, что всегда? Ровные линии отсутствия электрической активности с редкими мелкими всплесками, означающими, что мозг еще не умер? Неужели и сейчас, когда страх так велик, что я на мгновение теряю себя... будто, ничего еще не сделав, падаю в бесконечно глубокую пропасть, откуда меня на поверхность сознания выталкивает сила отдачи, биологический инстинкт... неужели и сейчас приборы ничего не регистрируют?

Мне не страшно. Не страшно. Не... Я должен повторять это, и повторяю, иначе ничего не получится.

Что может случиться, на самом-то деле? Что могло случиться с теми обезьянками, на которых я так и не успел поставить эксперимент, не успел убедить Ноэля, не успел даже поговорить с ним о вещах, в которых он ничего не понимает? Могла обезьянка умереть? Я не знаю этого, потому что не доказана седьмая теорема.

Я во власти эмоций, разум в принятии решения не участвует. Только желание жить – и страх умереть. Если бы я мог рассуждать разумно, то должен был бы просчитать все вероятности (в уме, но для меня это только вопрос времени – сейчас я умею делать расчеты любой сложности, вот преимущество моего состояния) и только после этого принять решение.

Но времени у меня нет. Завтра консилиум, а после него Гардинер не станет медлить.

В чем я пытаюсь себя убедить? При чем здесь вероятности? Я *боюсь*. И все.

Как заставить себе преодолеть страх? Не думать о том, что меня ждет «там, откуда ни один не возвращался»? Но если не думать, то и формулировку я воспроизвести не сумею. А если думать, то... страшно.

Заколдованный круг.

Эти двое... Мне казалось, я понимал Алену. Мне казалось, что банальности вроде «мужчинам не понять женскую душу» или «женская логика непредсказуема» к моей жене неприменимы. К Алене неприменимы были любые банальности, даже выглядевшие парадоксами. Женская логика отличается лишь тем, что, принимая решение, женщина учитывает гораздо больше внешних факторов, нежели мужчина. Я поступал, как математик при решении уравнения: пренебрегал незначительными параметрами. Обычная процедура, какой интуитивно пользуется мужчина, имея более рациональный ум, нежели женский. Даже если мужчина сугубый гуманитарий. Женщины учитывают незначительные, казалось бы, детали, и в результате их решения часто оказываются более правильными, поскольку именно неразличимые мелочи часто влияют на наши поступки сильнее, чем ясно видимые препятствия.

Я понимал Алену и, по идее, должен был понять и ее отношения с Гардинером. Одиноким мужчиной (с женой он, как я понял из разговоров, развелся за три года до *того* дня, и сын остался с матерью). И женщина, муж которой лежит в тяжелой коме, надежды практически нет. Она, конечно, любит мужа...

Любит? Любила? Я начал в этом сомневаться, услышав вскоре после того, как ко мне полностью вернулось сознание, разговор между Аленой и Лерой, состоявший, в основном, из междометий, обрывков фраз и вздохов. Не думаю, что кто-нибудь, кроме меня, мог понять хоть что-нибудь. Я понял. Алена уже тогда думала, как строить свою жизнь без меня. Она уже тогда, двести четырнадцать дней назад, мысленно меня похоронила и думала не о прошлом, а о будущем. Прошлым жила Лера, для нее я оставался не просто живым, но – советчиком в ее делах, проблемах, в ее жизни. Каким-то странным образом она понимала мои советы, а я каким-то странным образом представлял каждый ее день и

каждую ее невысказанную эмоцию.

С Аленой было иначе, для нее любовь означала присутствие любимого в реальной жизни. Как-то я размышлял о том, как долго сохранился бы наш брак, если бы мне пришлось уехать в Оксфорд одному, оставив Алену с Лерой в России на какое-то время. С родителями она была не очень близка, но они, конечно, взяли бы на себя долю ее забот, пока муж делает постдокторат за границей. Но я и минуты не раздумывал, получив грант: «Поедем вместе, или я не поеду вообще». Алена представляла трудности: никто ее в Оксфорде не ждал, устраиваться на работу придется самостоятельно. А я понимал: если уеду один, наш брак перестанет существовать. Любовь Алены иссякнет, если предмет любви не будет все время рядом, чтобы его можно было обнять, рассказать о проблемах, выслушать, да и все остальное имело значение, гораздо более важное, как я понял потом, чем духовная связь, которая прервалась бы, едва самолет оторвался бы от взлетной полосы.

Поэтому меня не удивило, когда Гардинер предложил ей вместе поужинать. Я подумал, что он хотел поговорить о моем состоянии и вариантах лечения, но, когда они ушли, понял, что ошибался. Вспомнил мозаику слов, касания рук (Алена держала меня за правую руку, Гардинер то и дело тыкал пальцем мне в левое плечо, но в какой-то момент по неувимой, возможно, даже для них самих синхронности прикосновений я стал чувствовать: касания предназначены друг другу).

Какой смысл в том, что я вспоминаю неприятное и распалю себя эмоциями? Да, я боюсь начать. Хочу, чтобы гнев (неужели гнев сильнее инстинкта самосохранения?) заставил меня преодолеть страх?

К тому же, я не закончил расчет начальных и граничных условий.

Опять я пытаюсь отговорить себя. Начальные и граничные условия важны, но понятно и то, что, каким бы ни оказалось численное значение константы квантовой неопределенности, это не принципиально. Может быть, диапазон тождественности охватывает несколько минут во времени и несколько сантиметров в пространстве. Может быть, эти числа равны годам и тысячам километров. Проверить можно только экспериментом. Даже если бы я не лежал сейчас без движения, если бы сидел за своим столом в кабинете с видом на здание Новой Бодлеанской библиотеки, если бы только что вернулся с утренней пробежки по набережной Айсис, разве и в этом, самом благополучном случае, я не должен был бы принять то же решение, что сейчас? У меня был бы результат опытов над приматами (если бы Ноэль согласился провести эксперимент), но, даже точно зная, что обезьяна прошла все тесты, сохранив жизнь, здоровье и, вероятно, собственную личность, разве, если бы я наверняка знал все это, мое решение было бы менее ответственным и определяющим мою собственную жизнь и мою собственную смерть?

Все так, но...

Я трус?

В восьмом классе я отправился с тремя приятелями (Алекс, Жора, а имя третьего память не сохранила) гулять в лесок за Битцевским парком. Довольно далеко от дома, но в тот день отменили шестой урок – литературу, – и мы решили с толком использовать время. Вышли к оврагу – точнее, широкой, метра два, траншее, кем-то когда-то зачем-то вырытой, да так и оставленной. Можно было овражек обойти, но Алекс (а может, Жора или третий, имени которого не помню) предложил перепрыгнуть. «Подумаешь, пара метров!» Глубина траншеи была, как мне тогда показалось, не меньше километра. У страха глаза велики – я был уверен, что свалюсь на острые камни, которые можно было разглядеть в глубине, сломаю шею или позвоночник, или то и другое вместе, ребята вызовут по мобильному службу спасения, а те пока раскатаются...

Сейчас тот страх кажется мне нелепым, но я так перепугался, что сел на влажную траву, меня не держали ноги. Я боялся и прыгать, и выглядеть трусом. Несколько лет спустя вычитал в каком-то журнале, что храбрость и даже бесстрашие есть преодоленный с

помощью гнева психоз трусости. Может, и так. Может, сейчас гнев мне поможет, а тогда страх оказался сильнее, и я наотрез отказался прыгать.

Мы еще немного побродили и разъехались по домам. Много раз потом страх мешал мне принимать решения – не всегда даже существенные.

А теперь? Страх становится сильнее, когда я убеждаю себя, что, если не решусь на эксперимент, вероятность смерти возрастает во много раз. Но стоит мне подумать о том, как эти двое... Алена и Гардинер...

Не хочу принимать решение в порыве гнева.

Пришедшая неожиданно мысль выглядит настолько парадоксальной, что я, по собственным ощущениям, задерживаю дыхание, чтобы мысль застыла.

Та женщина. Незнакомка. Конечно!

Ее появление необъяснимо в пределах единственного мира, но вполне естественно с учетом принципа квантовой идентичности, следствия доказательства шестой теоремы.

Я должен был сразу об этом подумать!

Женщина вошла через тридцать восемь минут после того, как Лера покинула палату, сообщив, что «мама уговорила доктора...». Сразу после ухода дочери у меня был приступ гнева, горечи, унижения – видимо, в том состоянии я и принял подсознательное решение.

Что *еще* изменилось в палате, в моем состоянии, моих ощущениях? Так же, как прежде, я слышу тихое постукивание, шипение, позвякивание с правой стороны, где стоит аппаратура для поддержания во мне никчемной жизни бревна. Никто этих звуков не слышит, для всех в палате томительная тишина, нарушить которую они могут только сами, шаркая, передвигая стулья, разговаривая, поправляя на мне одеяло зимой и простыню летом. Сейчас (почему я раньше не обратил внимания?) к постукиванию, шипению и позвякиванию, постоянным, как движение солнца по небу и потому переставшим восприниматься сознанием, добавляется тишайший, но различимый свист, а, если прислушаться, то можно расслышать незначительные, граничащие с трехсигмовым порогом, переливы, странная мелодия...

Прислушиваюсь, и теперь, готовый ко всему, слышу и другие, отличные от прежних, звуки. Сверху жужжание, будто под потолком носится, не находя места для посадки, назойливая муха. Справа, от того места, где дверь, протащились ко мне (звук будто действительно протащился по полу, и к нему прилипли пылинки) приглушенные шаги – не в палате, кто-то проходит по коридору, раньше эти звуки не были слышны, и то, что я могу расслышать их сейчас, свидетельствует вполне определенно, что *эта* дверь не такая звуконепроницаемая, как *прежняя*.

Я опять пугаюсь. Теперь страх другой, осознанный и понятный. Если все так, то после ухода Леры и моей вспышки гнева я мог миновать не один, не два, а множество... собственно, бесконечное число...

Похоже, от страха я совсем утратил способность логически мыслить. За столь небольшой промежуток времени я не мог миновать бесконечное число идентичных миров: во-первых, принцип неопределенности не позволяет, а во-вторых, изменения оказались бы гораздо более существенными.

Успокоиться. Подумать. Оценить ситуацию.

Страх проходит. Гнев ли его вытеснил или понимание, что бессмысленно бояться того, что уже произошло независимо от моего желания?

Сжимаю пальцы в кулаки, и мне кажется, что так действительно и происходит.

Нет, конечно. Мне много раз казалось, что я могу моргнуть или пошевелить пальцем, но на самом деле не происходило ничего. Можно было бы назвать мои ощущения фантомными, но это неправильно, а как назвать правильно, и существует ли в медицине название этому явлению, я не знаю.

Я могу рассчитать, сколько миров сменилось после ухода Леры. Собственно, это не расчет, а озарение. Инсайт позволяет пропустить вычислительные стадии: интуитивно я всегда угадываю правильное решение, много раз проверял собственные подсознательные

ответы, прокладывал мосты численных операций – не ошибся ни разу.

Дверь. Я чувствую, когда открывают дверь в палату. Резко, как профессор Мортимер. Спокойно, уверенно – как Гардинер. С шумом и хлопаньем, как большинство медсестер, которым вечно некогда и для которых работа в моей палате – необходимая, но, по их общему мнению, бесполезная обязанность. Они, конечно, делают все, что предписано: меняют подушки, простыни, капельницы, моют меня, переключают, поворачивают – как делали бы то же и так же с переспелым арбузом. Или тыквой.

Дверь открывается так тихо, что я лишь улавливаю струйку воздуха из коридора, более материальную, чем почти неслышимый шорох... чего? Платья?

Женщина стоит в отдалении, дверь осталась приоткрытой. Она к чему-то прислушивается? Смотрит на меня... как? Этого я не могу знать.

Но могу представить. Блондинка, правильный овал лица, большие серые глаза, брови густые, это свойственно брюнеткам... Она красит волосы?

Почему мне кажется, что женщина выглядит именно так? Что-то есть в моей памяти, скрытое от сознания? Пока – скрытое? Потому что эта реальность – идентичная?

Женщина делает шаг, но не в направлении кровати, а вправо, она больше не старается остаться неслышимой, дверь прикрыла с тихим щелчком. У стены, насколько я представляю, стоит письменный (или медицинский?) стол, перед которым – стул, а, может, кресло. Если кресло, то легкое и не на колесиках, судя по звукам, которые я слышу, когда этот предмет мебели передвигают. На столе (могу утверждать это с уверенностью) – компьютер. Вряд ли я смог бы извлечь из файловой информации что-то для себя полезное: там наверняка множество медицинских терминов, для меня непостижимых. Иногда этот парадокс меня развлекает: я могу оперировать бесконечностями и бесконечностями бесконечностей, восемь уравнений подобия инфинитного исчисления я вывел уже здесь. Я описываю в уме такие глубины мироздания, о каких Гардинер не подозревает, но медицинское описание моего состояния – в файлах компьютера – для меня, скорее всего, китайская грамота.

Впрочем, все это неважно, и мысль исчезает в подсознании так же быстро, как возникла, я переключаю внимание на звуки: женщина передвигает стул (кресло?), садится и несколько раз нажимает на клавиши, после чего наступает тишина; гостья, видимо, внимательно разглядывает текст (изображение?) на экране.

Кто она? Я помню. Знаю, что помню. И не могу вспомнить.

«Не уходи насовсем. Пожалуйста.»

Я только сейчас (вот странность восприятия!) понимаю, что говорила женщина по-русски, с приятным английским акцентом. В клинике Рэдклиффа работают несколько русских медсестер, но не в моей палате – о русских я знаю из разговоров врачей. Эти тонкости меня не интересовали и сейчас не интересуют: уверен, эта женщина не работает в больнице. Она поднимается, ставит на место стул и почти неслышно пересекает комнату. Останавливается слева от кровати и смотрит на меня, я чувствую ее взгляд, как ласковое поглаживание по щеке. Губы ее что-то шепчут, так тихо, что я не могу понять ни слова – может, она молчит, а я ощущаю шорох ее мыслей?

Если я не ошибаюсь в оценках, то нахожусь сейчас в идентичной реальности, возможно, даже не первой (я пока не могу оценить число перепутанных идентичных ветвей, третье уравнение подобия позволяет сделать расчет, но я еще не доказал седьмую теорему и не могу использовать следствия, позволяющие оценивать взаимное расположение событийных пространств).

– Не уходи, – произносит она очень тихо. – Пожалуйста, – повторяет она одними губами. – Ты это можешь.

По-русски.

Она наклоняется и целует меня в губы. Прижимает свои губы к моим и оставляет немного помады. (Мне кажется, помада у нее бордовая. Вкусовые ощущения способны вызвать визуальное соответствие? Или проявляется новая память, неизбежно возникающая

в идентичной реальности?) Мягкой салфеткой женщина стирает с моих губ остаток поцелуя.

– Не уходи, – повторяет она и добавляет, отойдя на шаг или два, и потому ее слова звучат, как порыв ветра, шелест платья, не звук, а тень звука, смысл без оболочки:

– Прошу тебя.

Возможно, это действительно был лишь шорох платья?

Но показалось, что она произнесла два слова, которые я повторяю еще какое-то время после того, как опять остаюсь один.

Наедине со страхом, мешавшим принять решение, и с пониманием того, что подсознательно уже произнес нужные формулировки, иначе не было бы этой женщины и не было бы ее слов.

Нужно решить: двигаться дальше или вернуться в идентичную реальность, находящуюся в невычислимой области событийных пространств, число которых так же бесконечно, как бесконечно число многомирий с бесконечным числом вселенных в каждом из них.

Я не ощущаю прежнего страха. Мне покойно. И теперь, пока не пришла медсестра совершать надо мной ритуальные действия, пока не явился кто-нибудь из врачей поглядеть на неизменные за много дней показания приборов, пока не прибежала Лера с возбужденным рассказом о том, что Кен наконец-то поцеловал ее, пока в палате тихо и одиноко, я могу попробовать доказать, наконец, седьмую теорему и... Сначала – доказать. Доказательство подскажет следствия.

Заставляю себя не думать о женщине. О поцелуе. Об Алене и Гардинере. О Лере. Ни о ком, и, тем более, о собственном понимании справедливости.

Если, как это следует из сложения бесконечномерных событийных пространств Шведера...

* * *

Доказав первую теорему инфинитного исчисления, Дорштейн сам был, по его словам, шокирован простотой принятого постулата. Почему математики раньше не пришли к этой идее? «Дело в том, – сказал он на конференции в Принстоне, – что прежде это никому не было нужно. Чтобы математику пришло в голову кардинально пересмотреть основы своей науки, требовались кардинальные изменения представлений об устройстве мироздания. А это произошло только сейчас».

Он еще добавил, не сказав, впрочем, ничего принципиально нового по сравнению с Типлером:

«Мироздание – это математика. Математика не описывает реальность, она является реальностью. Физика вторична, она позволяет нашему сознанию воспринимать математику природы. Если бы аксиомы инфинитного исчисления были сформулированы полвека назад – к тому были все предпосылки, особенно после разработки концепции Эверетта, суперструн, бран, ландшафтных вселенных, – физики не потеряли бы столько времени, придумывая теории, сейчас выглядящие архаичными, как дома с множеством архитектурных излишеств в стиле рококо или барокко, построенные в центре современного делового квартала».

Дорштейн был прав, конечно.

Идеи инфинитного исчисления просты и доступны настолько, что расчеты можно, за редким исключением, проводить в уме. В статьях по инфинитному анализу чаще, чем в любой другой математической работе, можно встретить выражения вроде: «из сказанного с очевидностью следует, что...». Разумеется, есть у нас свой, достаточно сложный, математический аппарат, изобретенный тем же Дорштейном и развитый затем Черномским, Шведером, да и я добавил кое-что. Нам, работающим в математике бесконечного, эти формулы представляются образцом простоты. Студенты, которым инфинитное исчисление стали преподавать наравне с дифференциальным и

интегральным, уверяют, что изучать новый раздел математики куда легче, чем интегралы, в которых черт ногу сломит. Наверно. Не мне судить. Я слишком глубоко погрузился в этот мир.

А ведь с чего началось? С ненависти физиков к бесконечно большим величинам. Бесконечно большие значения энергии получились у Больцмана, когда он сконструировал формулу теплового излучения. Бесконечно большие величины получались, когда физики вычисляли энергии взаимодействия частиц. Чтобы избавиться от бесконечностей, придумали метод перенормировки. Бесконечно большие величины энергий получались в центрах черных дыр и в коконе Вселенной. И всякий раз физики безжалостно расправлялись с возникавшими бесконечностями, сводя математику и весь физический мир к конечным, а главное, вычислимым явлениям.

Бесконечности, однако, продолжали стучаться в двери физической науки. Какое-то время – недолгое, впрочем, лет десять в начале третьего тысячелетия, – физиков грела мысль о том, что различных многомирий не так уж много. Да, каждый тип многомирий содержит бесконечно большое число миров, но все же ограниченность числа возможных многомирий позволит когда-нибудь избавиться от бесконечностей.

На деле все произошло наоборот – и замечательно, что Дорштейн выступил в нужный момент в нужном месте. На конференции по инфляционному многомирию он закончил свой доклад словами:

«Полагаю, нам нужно сделать шаг, который выглядит невозможным. Шаг, сделать который страшно, потому что мы вступим в воды, в которые не входил еще никто. И кажется, что, погрузившись в пучину, мы не сумеем выплыть. Страшно входить в ледяную воду океана, но отважный человек делает шаг, начинает плыть и понимает, что плыть в бесконечном океане приятно, а ощущение эйфории незабываемо».

Дорштейн еще добавил:

«Я это говорю к тому, что мы сегодня обсуждали инфляционное многомирие. Наши коллеги в Бостоне обсуждают многомирие по Эверетту. В Сиднее прошла конференция по лоскутному многомирию. Мой друг и коллега Саймон Грин в блестящей книге «Скрытая реальность» насчитал девять видов многомирий, и все присутствующие согласны с тем, что число многомирий ограничено. Господа, я полагаю, что типов многомирий так же бесконечно много, как миров в каждом многомирии. Полагаю, что существует бесконечно много мультимногомирий. Полагаю, что мироздание состоит из бесконечного числа бесконечно разнообразных мультимиров. Бесконечности – вот что самое типичное в природе! Нужно научиться справляться с бесконечно большими величинами, иначе физика перестанет развиваться. Мы привыкли к идее, что все имеет начало и конец, наше сознание не воспринимает бесконечностей, не умеет с ними работать. И это, на мой взгляд, единственная причина того, что разные многомирия представляются нам абсолютно отделенными друг от друга и по сути непознаваемыми».

Так был сформулирован парадокс, который стал несколько месяцев спустя, после публикации статьи Шведера, главной аксиомой инфинитного исчисления – чем-то вроде первого постулата Евклида о том, что кратчайшим расстоянием между двумя точками является прямая линия.

Но для меня важнее были не постулаты инфинитного исчисления, а физическое приложение – все-таки я ощущал себя не чистым математиком, а скорее матфизиком, при том, что физику тогда знал недостаточно: если бы мне пришлось сдавать экзамен по квантам, который я легко одолел два года спустя, то вышел бы я из аудитории с твердой тройкой, не больше.

Почему сейчас вспоминается тот день? Память плохо поддается контролю сознанием. Правда, сейчас я умею управлять выплесками памяти гораздо лучше, чем прежде, и тому наверняка есть психологическое обоснование, которое, впрочем, мне совершенно не интересно. Воспоминание нужно прожить и успокоить, как взбрыкнувшую лошадь, тогда оно больше не вернется, во всяком случае, не добавит ненужных волнений.

В тот день... То, что мне пришло тогда в голову, и стало формулировкой третьей теоремы инфинитного исчисления, теоремы Волкова, как ее стали называть. Это была подсознательная, интуитивная догадка. Потом тому же Шведеру (а не мне, я тогда слишком плохо знал физику) удалось показать, что моя догадка была прямым следствием второй теоремы.

Я всего лишь соотнес идею бесконечного числа бесконечно разнообразных многомирий с квантово-механическим принципом неопределенности. В чисто математическом смысле в бесконечном многообразии всегда (это понятно даже интуитивно, но Шведер доказал на основе первого постулата) можно найти бесконечное число многомирий и, тем более, счетное число вселенных, полностью тождественных друг другу. Миры, описываемых одной и той же бесконечно сложной волновой функцией, но инфинитный анализ уже позволял сравнивать бесконечности и выбирать среди них идентичные.

Чистая математика. В физике существует принцип неопределенности, свою роль он играет и в многомириях, как же без него? И если применить этот принцип к инфинитному анализу, то вывод очевиден: два мира (многомирия, многомирия многомирий и так далее) можно назвать тождественными или идентичными, если они отличаются друг от друга на величину, находящуюся в пределах физического соотношения неопределенности.

Говоря популярно (мне много раз пришлось говорить именно популярно, поскольку я выступал с лекциями в Питере, Мюнхене и здесь, в Оксфорде), физика не запрещает перемещений материального тела (живого и разумного, в том числе) в идентичную реальность, поскольку эти миры математически тавтологичны. Нет разницы, в каком из них находится выбранный объект. Это все равно, что рассматривать бесконечное число равных треугольников или других геометрических фигур. Меняйте их местами как хотите, мироздание в результате останется тем же самым. Формально. «На самом деле» реальности все же отличаются друг от друга на величину квантовой неопределенности.

А определяет величину квантовой неопределенности постоянная Планка-Фихнера, достаточно большая, чтобы разумный наблюдатель, переместившись из одного мира в другой, ощутил, увидел, осознал, воспринял, оценил разницу. Иными словами, идентичное в бесконечном исчислении может оказаться (и оказывается) существенно различным с точки зрения наблюдателя.

С моей точки зрения.

Это четвертая теорема инфинитного анализа, Вторая теорема Волкова, как ее называют. Когда мы с Дорштейном столкнулись в дверях на конференции в Кембридже, он пожал мне руку и пригласил к себе на чашку кофе, после которой последовали несколько рюмочек коньяка. В результате мы стали друзьями и *до того* дня поддерживали постоянную связь, чуть ли не ежедневно сообщая друг другу о сделанном, доказанном, измеренном. О неудачах тоже.

Но *после того* дня Дорштейн ни разу не посетил клинику, хотя от Кембриджа до Оксфорда всего час езды, не вошел ко мне в палату, не дотронулся до моей безжизненной руки. Я ни разу не слышал, чтобы Алена, Лера или кто-то еще называл его имя в числе тех, кто интересовался моим состоянием.

Неважно.

Жаль, я не успел рассказать ему, в чем смысл пятой теоремы. Физики там больше, чем собственно математики. Мне пришлось объединить две науки, использовать методы математической инфинитологии к физическим квантовым системам. Более того, я почти уверен, что за двести тридцать семь дней кто-нибудь (скорее всего, Шведер, но вовсе не обязательно, Карлтон и Вуковер тоже могли это сделать) пришел к тому же выводу, что и я. Это естественно и непосредственно следует из Второй теоремы Волкова, статью о которой я опубликовал в *Review of Modern Physics*, а не в математическом журнале – чтобы привлечь внимание коллег, конечно, – и успел увидеть электронную версию за три дня до...

Вторая теорема Волкова, если ее сформулировать без математических символов,

понятна даже самому нерадивому ученику обычной школы. Я рассказал о своей идее Лере (хотел и Алене, но у нее в те дни болела голова: думаю, это была отговорка, ее занимали другие мысли, понятия не имею – какие именно), и дочь восприняла идею смещения с юношеским восторгом, немедленно принявшись вспоминать случаи, когда у нее неожиданно пропадали или появлялись предметы одежды, а как-то, по ее словам, буквально на глазах исчез тюбик с кремом для рук – да так и не нашелся. Странно, что за двести тридцать семь дней Лера ни разу ни словом не обмолвилась о нашем разговоре. Она поверяла мне свои девичьи тайны, воображая, что я могу слышать, но будучи все же твердо уверена, что слышать я не в состоянии. О чем угодно говорила со мной дочь, но никогда – о том нашем разговоре. Может, Лера думала (возможно ли, чтобы такую мысль внушил ей Гардинер?): разговоры о моей профессии не способны вывести меня из состояния комы? Не знаю, какие методологические принципы существуют на этот счет в медицине.

Тем не менее, Лера знала: идентичных, с точки зрения инфинитной физики, миров в многомирии многомирий бесконечное количество, и мы с равной вероятностью можем существовать в любом из них. С точки зрения инфинитной физики люди, как электроны в атоме, неотличимы друг от друга в каждом из бесконечных миров. Взаимозаменяемы любые вселенные из наборов идентичных, и нет математических способов определить, в какой из них мы находимся в данный момент. Физический способ, тем не менее, существует, поскольку идентичные вселенные одинаковы лишь в пределах квантовой неопределенности, и потому в одной из идентичных вселенных вы находите свои очки на обычном месте, а в другой этих очков нет, их там никогда не было, и вы, не понимая сути явления, воображаете, что исчезли очки, а вовсе не вы лично оказались в другой идентичной реальности.

Переходы происходят спонтанно и постоянно – через каждый планковский интервал времени мы перемещаемся из мира в мир, замечая это только тогда, когда у вас что-то пропадает или что-то появляется, или возникает мысль, которая в прежней вселенной в голову прийти не могла. Эти события мы приписываем собственной забывчивости (бритья Оккама) или склейкам ветвей в эвереттическом многомирии (метод Амакко). На самом деле мы всего лишь перемещаемся из одного идентичного мира в другой в пределах квантовой неопределенности.

И без всякой возможности оказаться во вселенной, не идентичной нашей...

* * *

Я спокоен. «Не уходи», – сказала эта женщина. Что она знала обо мне? Что знала об Алене и Гардинере? Были мы знакомы в этой реальности? Если да, то я должен ее помнить. Вспомню, уверен.

Теперь я точно знаю, что идентичные вселенные за время моего больничного бытия сменились множество раз. Я могу рассчитать, сколько именно, зная величину планковского интервала, но что мне даст такое абстрактное знание?

До сих пор перемещения происходили под влиянием подсознательного выбора и неосознанных желаний – как обычно, как у всех, как у любой живой твари. Сейчас я должен...

Прежде всего, продумать план действий, учитывая, что перемещаться я могу лишь в идентичных вселенных, в пределах квантовых неопределенностей, к которым, скорее всего, мой выход из состояния комы не относится.

Кажется, я понимаю, что должен сделать. Для меня «сделать» – синоним «подумать». Сделать – направить сознательную мысль на конкретный предмет. Что-то должно измениться в палате или в моем сознании, когда я приму решение. И тогда я пойму, что переместился в идентичный мир.

Будет это доказательством? Нет, пожалуй. Мало ли что может измениться и без моего желания? Только длительный процесс наблюдений за реальностью покажет в отдаленных

последствиях, что произошло и произошло ли что-то вообще. Может, мне так и не удастся получить надежные аргументы (тем более – доказательства) в пользу моего перемещения.

Мимолетно думаю о том, что выбор идентичного мира напоминает волшебную сказку. Герой произносит магическое заклинание, вроде «Сим-Сим, открой дверь!». Дверь открывается, и персонаж оказываются в другой стране, совершает героические подвиги и с триумфом возвращается домой, чтобы жениться на принцессе, которая была лягушкой. Те, кто придумывал сказки, конечно, не знали ничего о бесконечной системе многомирий, об инфинитном исчислении, квантовой неопределенности и идентичных реальностях, но интуиция... интуиция связывает миры...

У меня будет время подумать об этом, когда... если...

Страх опять поднимается из глубин подсознательного, мешает сосредоточиться...

«Все хорошо». Мамин голос.

«Не надо бояться. Никогда».

Мама...

Нет. Я узнаю голос. Это не мама. И это не ее ладонь. Женская. Теплая. На лбу. Ладонь той женщины. И голос ее:

«Потерпи, милый. Я знаю, ты меня слышишь. Я знаю, ты не можешь ответить. Но ты попробуй. Я пойму. Ты только думай...»

Я в палате – где же мне быть? Я все там же, все тот же. Только почему здесь *эта* женщина, и почему теперь я знаю ее, вспоминаю имя? Кейт! У меня нет знакомой по имени Кейт. Господи, о чем я? Кейт Уинстон!

– Ты только думай обо мне.

Я думаю о ней. Ладонь Кейт касается моего лба, мягкая, теплая... знакомая.

– Думай обо мне, милый.

Я думаю о тебе, Кейт. Ты была для меня таинственной незнакомкой, а сейчас я помню... Значит, так работает память при переходе в идентичный мир? Одна память наслаивается на другую? Переходя в идентичный мир, наблюдатель сохраняет память о прошлом, иначе не заметил бы перехода и ничего не смог бы доказать. Интуитивно это понятно, но математически должно следовать из шестой... нет, это уже будет восьмая теорема – еще не сформулированная.

Кейт... Почему я не узнал ее, когда она поцеловала меня?

– Думай обо мне...

Так мы с Кейт и общались – с того дня, когда она (полгода назад!) тихо проскользнула в палату. Я почувствовал ее присутствие только после того, как она передвинула стул и села у моего изголовья. Какое-то время молчала, а я терялся в догадках, ощущая легкий запах духов. Это не была Алена, ее духи были хорошо мне знакомы, и это была не Лера...

Тогда, в первое свое посещение, Кейт наклонилась ко мне и произнесла фразу, смысл которой я понял только после ее ухода:

– Я больше не с ним. Слышишь? Мы расстались.

Она говорила о Гардинере. Кейт. В тот день я обдумывал доказательство пятой теоремы. Вероятно, именно тогда, сам того не подозревая, я переступил порог. Я понял это после ухода Кейт, а когда она произнесла удивившие меня слова о том, что «больше не с ним», мне показалось, я не все расслышал. Точнее, понял не так. Не то. Она говорила о Гардинере, а я подумал, она имела в виду Хаскелла.

До нашего знакомства у Кейт был дружок, которого я шапочно знал. Генри Хаскелл был биохимиком, работал у Роулинга в группе, конструировавшей аппаратуру по быстрому секвенированию генома. Что-то они усовершенствовали, сокращая время и улучшая точность. Тогда мы с Кейт еще и знакомы не были, а Хаскелла я встречал на автостоянке, и мы кивали друг другу. Года два назад он исчез, и только познакомившись с Кейт, я узнал, что именно тогда у нее была с ним любовь. Кейт работала в салоне на Баркер-стрит и влюбилась в Хаскелла, когда тот сидел в соседнем кресле (а она стригла профессора-химика) и строил ей глазки в зеркале.

Через месяц они стали жить вместе, сняли квартиру с видом на башню Карфакса, и все было хорошо, но однажды Хаскелл уехал в Ливерпуль, кратко объяснив ничего не понимавшей Кейт, что получил приглашение, там лучшая должность и больше платят, а с ней у него на новом месте будут проблемы.

Кейт все это рассказала в первый день нашего знакомства, и потому, когда она сказала «больше не с ним», я подумал сначала, что речь о Хаскелле.

Не знаю, как устроена память с точки зрения биохимии. Читал кое-что, полагая, что серьезные знания мне не нужны, а забивать голову лишней информацией не хотелось. Если в мозгу есть зоны, где накапливается информация о прожитом и пережитом, то хотел бы я знать, как извлекаются сведения об оставленном идентичном мире. Подвержена ли память принципу квантовой неопределенности? Наверняка, ведь в многомирии многомирий это единственный общий принцип. Как я могу знать, в таком случае, что обрывки картин прошлого, возникающие в моей памяти, относятся именно к этому идентичному миру, а не прежнему – или одному из прежних. А может, то, что я вспоминаю, – это память об идентичных мирах, где я еще не был и никогда не буду, и, если бы я мог спросить у Кейт, знала ли она некоего Хаскелла, она удивилась бы и решила, что я над ней подшучиваю, как это между нами не раз бывало. Или не было? Подумав о том, что память может не соответствовать текущей идентичной реальности, я не могу теперь быть уверен, что Хаскелл когда бы то ни было существовал в тех ветвях, которые на самом деле я могу помнить, ощущать, знать.

Но я помню, как Кейт устроилась в косметический кабинет при клинике Джона Рэдклиффа. Да, в той, где я живу двести тридцать седьмой день, если это можно назвать жизнью. Я приветствовал ее поступок – в клинике и платили больше, и врачи с больными представлялись мне более безопасным контингентом, нежели посетители салона красоты. Мне и в голову не приходило...

Алена! Лера! Почему, вспомнив свои отношения с Кейт, я только сейчас подумал о жене и дочери? Я никогда не собирался оставлять Алену, тем более, в чужой стране. Жена тогда только устроилась на работу, и мы смогли рассчитаться с долгами, в том числе с долгом фонду попечительского совета, у которого находились на содержании после переезда в Оксфорд. В разгар моего романа с Кейт отношения мои с Аленой были, как ни странно, куда лучше, чем дома, в Москве, и уж точно лучше, чем в первые месяцы английской жизни, когда все окружающее было ей чуждо. Говорят, многие семьи распадаются из-за трудностей эмиграции, но мы это пережили, и, когда в моей жизни появилась Кейт, с Аленой у меня было все в порядке. В полном порядке. Это я внушаю себе, понимая, что мужчина (и женщина тоже – разве у нее голова иначе устроена?) заводит роман на стороне, если ему плохо в семье. От хорошего не сбегают, верно?

Неверно. Что может быть верно в сложных человеческих отношениях? Все прекрасно было у меня с Аленой, а Лера меня боготворила и советовалась в таких вещах, которыми не делилась с мамой. А может, делилась, и Алена думала, в свою очередь, что дочь рассказывает ей такое, чем не стала бы делиться с отцом? Что я знал о своей дочери?

Мало что, на самом деле, но почему я думаю о Лере? То одно вспоминается, то другое – из какой, черт побери, реальности? Почему, когда у нас с Аленой все было хорошо, и все было замечательно с Кейт, Алена ничего не подозревала, а Кейт не настаивала на том, чтобы я развелся, почему именно тогда Кейт втрескалась (терпеть не могу это слово, но именно потому оно и кажется мне самым точным для обозначения ее чувства) в доктора нейрологии Невила Гардинера, как-то пришедшего постричься (рок какой-то – Кейт, похоже, всегда влюблялась в клиентов!)?

Мы поссорились? Наверно. Этого я вспомнить не могу – или не хочу вспоминать плохое.

Наверно, поссорились. Как иначе? Любимая женщина заявляет, что полюбила другого. И когда я оказался в этой палате в качестве неодушевленного предмета для медицинских упражнений, Кейт не приходила ко мне – иначе я помнил бы.

Да? Что я могу знать о распределении памятей наблюдателя в идентичных реальностях? Как я могу быть уверен, что Кейт ко мне не приходила до сегодняшнего дня? А если приходила, и я об этом забыл, то к какой памяти о какой реальности относится моя забывчивость? Могу ли я вообще что бы то ни было забыть? Может, когда я говорю о чем-то «забыл», это лишь свидетельство того, что «забытое» оказалось частью случившегося в другой идентичной реальности и потому выпало из памяти? Навсегда ли?

У меня будет время подумать об этом. Я не биолог, и не исследование природы памяти в многомирии многомирий является моей целью. Хочу вспомнить, да. Вспомню, если реальность устроена так, что я смогу вспомнить.

«Я больше не с ним», – сказала Кейт, и я знаю, что говорила она о Гардинере, а не о уехавшем в Ливерпуль Хаскелле.

В какой реальности Гардинер сошелся с Аленой? В той, где Кейт ни разу не приходила в мою палату? В той, где Кейт вообще не было в моей жизни? Может, здесь и сейчас, в нынешней идентичной реальности, Гардинер вовсе и не собирался расправиться со мной и жениться на Алене? Может, он только недавно – вчера или на днях – поругался с Кейт, и именно потому она пришла сегодня ко мне? Порвала с Гардинером и пришла поплакаться, понимая, что может сколько угодно проливать слезы, держа мою руку или глядя мне голову, используя меня, как предмет, которому можно рассказать все без боязни нарваться на скандал, один из тех, что время от времени вспыхивали между нами.

«Я больше не с ним». Ну и хорошо. Но я-то никогда не любил тебя, Кейт. Никогда? Я не любил ее в той идентичной реальности, где Кейт существовала вне моего восприятия, и это отсутствующее чувство сохранилось во мне сейчас, если в памяти вообще может сохраниться отсутствие чего бы то ни было. А должна была сохраниться любовь, я же люблю Кейт, помню, как мы были счастливы, встречаясь тайком в ее квартире на берегу Айсис, помню каждое мгновение нашей близости, помню, помню...

«Не уходи. Пожалуйста.» О чем думала Кейт, когда произносила эти слова, понимая, что я не могу ее услышать?

Может, Кейт, говорившая о том, что ушла от Гардинера, и Кейт, призывавшая меня не уходить, – разные женщины? И та, и другая – Кейт, но из разных идентичных миров?

И в те минуты, когда я мучился страхом, не мог заставить себя подумать о формуле перемещения между идентичными мирами в идентичных многомириях, может, именно тогда и именно под действием страха, чувства животного, деструктивного, активировались подсознательные рефлексы, наверняка наработанные человеком, а возможно, и всеми живыми существами, – рефлексы, перебрасывающие наблюдателя из одного идентичного мира в другой. Перебрасывают, конечно же, хаотически, при рефлексорном перемещении идентичный мир выбирается случайно, единственный критерий – соответствие принципу неопределенности.

Можно ли рефлексорно выбрать именно то многомирие, в котором существует именно тот идентичный мир, где я на самом деле хотел бы оказаться? Что я знаю о собственном подсознательном? Так мало, что вряд ли смогу дополнить уравнения шестой теоремы аддитивной составляющей, соответствующей не разумной деятельности наблюдателя, а его подсознательным рефлексам. Сейчас этого не сможет сделать никто, даже Дорштейн, – слишком сложная математика.

«Ты только думай, и я услышу»...

Мои размышления, на время замкнувшие меня в скорлупе памяти, продолжались пять секунд, мое внутреннее ощущение времени меня ни разу не подвело – Кейт все еще держит меня за руку, и я слышу звуки... она плачет? Нет, пожалуй. Шуршание... Она что-то пишет?

«Думай, я услышу».

Вряд ли. Тем не менее, я заставляю себя думать о главном. О том, как ее любимый (да, бывший, согласен) Гардинер нашел новую привязанность – мою жену Алену. Они хотят быть вместе, а я мешаю. Им непременно нужно зарегистрировать отношения, а я жив, и

Гардинер придумал способ избавиться от меня под предлогом моего же лечения.

Мне начинает казаться, что Кейт действительно воспринимает мои мысли. Она крепче сжимает мою ладонь. Ее дыхание становится более учащенным. Слышу, как бьется ее сердце, но это, скорее всего, мои фантазии.

– Прости меня...

Как, однако, причудливо складываются судьбы в идентичных мирах! Какова вероятность того, что женщина, которую я полюбил, бросит меня ради человека, который бросит ее, потому что полюбил мою жену, которую я собирался (видимо, так!) бросить ради женщины, которую полюбил? Кольцо причин, следствий, чувств, ощущений, желаний...

«Думай, я услышу».

В этом идентичном мире Кейт способна прочесть мои мысли? Она думает, что я способен мыслить?

Любые идентичные миры совпадают в пределах квантовой неопределенности. Здесь действуют те же законы природы. А телепатия, чтение мыслей... Противоречит физическим законам? Я могу быть в этом уверен? Что я знаю о чтении мыслей? «Властелин мира» Беляева. «Человек без лица» Бестера. Замечательные книги. В фантастике возможно все, включая телепатию. Но то, что мне известно об этом явлении из популярной литературы, оптимизма не внушает. В «Паранауке» (читал с придирчивым интересом) Джонатан Смит убедительно доказывает, что все якобы телепатические опыты – либо шарлатанство, либо добросовестное заблуждение.

Провести эксперимент? Если в этой идентичной реальности возможны телепатические явления, значит, неравенство Волкова несостоятельно, и придется пересмотреть весь комплекс теорем. С первой по шестую. Бессмысленно. Создана внутренне непротиворечивая и блестящая с математической точки зрения система доказательств. Инфинитное исчисление. И то, что я сумел переместить сознание в другую идентичную реальность...

Сумел ли?

Сначала я боялся умереть. Сейчас боюсь, что дело моей жизни окажется ошибкой.

– Думай, пожалуйста... Ты не о том думаешь, милый...

«Милый»... Кейт, кто я для тебя? Если тебе открыты мои мысли, почему я не знаю, о чем думаешь ты?

А если те слова, что слышу... Может, это – мысли?

Как я могу знать?

Чужие мысли должны, видимо, возникать в моем сознании сами собой? Но я слышу женский голос, его интонации. Когда ты наклоняешься, голос становится громче. Или наоборот: когда твой голос становится громче, мне кажется, будто ты склонилась ко мне?

Я не могу спросить тебя. Не могу подать знак.

Ты хочешь, чтобы я подумал. Изволь.

Завтра консилиум разрешит Гардинеру начать клинические испытания нового препарата – ницелантамина. Я буду первым. По идее, Гардинер должен иметь хотя бы одного такого же больного в состоянии тяжелой комы, как я, и использовать в его «лечении» пустышку, причем, по идее, сам не имеет права знать, в каком случае дает больному реальный препарат, а в каком – плацебо. Так, насколько я знаю, проводятся подобные испытания. Но, видимо, не в этом случае. Кейт, ты могла бы узнать: существует ли контрольный больной. Кейт, ты могла бы поговорить... не с Гардинером, конечно, но с Симмонсом. На Гардинера ты влияния не имеешь, он... Он не с тобой, да. Но Симмонс может проголосовать «против», и это важно.

– Почему ты не думаешь обо мне?

А о ком же я думаю?

Ничего не получается. Я не понимаю, чего хочет эта женщина. Она – определенно – не слышит, не чувствует, не ощущает, не понимает того, о чем думаю я.

Может, она разговаривает сама с собой? Не ко мне обращается? Она ни разу не назвала меня по имени. Она наклонялась ко мне, целовала меня, сказала, что рассталась с Гардинером, но, черт возьми, разве она со мной говорила?

Но я помню наши свидания, наши отношения, помню, как три года назад снял на Хай-стрит небольшую квартирку, полторы комнаты, самую дешевую, лишь бы недалеко от меня и от Кейт, там мы встречались, когда получалось, там были счастливы, я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как с Кейт, думал уйти от Алены, мы ссорились с женой по пустякам, да, это были пустяки, если смотреть из будущего, зная уже, что произошло потом, но тогда размолвки казались нам обоим непреодолимыми, и, если бы не Лера...

Что-то не так. Комната на Хай-стрит? Выцветшие обои в полосочку, отвратительно, но у меня не было ни желания, ни времени что-то менять, а Кейт обои нравились, ей нравилось все, даже протекавший кран на кухне, который я не мог исправить, надо было вызвать сантехника, но мы, когда приходили «к себе», совсем теряли головы...

Нет.

Кейт жила на Пемброк-стрит. И ничто не мешало нам проводить время в ее квартире. Почему я помню...

Третий идентичный мир? Две памяти, наложенные на третью, истинную? *Первую*? Ту, где Кейт вообще не существовала?

О ком она говорит? Точно – не обо мне. Она не может говорить мне эти слова, потому что в идентичных мирах не существует телепатии.

– Подумай обо мне, родной мой...

В палате есть кто-то еще, к кому она обращается? Кто-то, вошедший так тихо, что я не расслышал ни звука открывшейся двери, ни шагов, ни дыхания, ни специфического мужского запаха... ничего. Если здесь есть кто-то и Кейт говорит с ним, то какое значение для нее имеет наше общее прошлое, и то, что она бросила меня ради Гардинера, и то, что рассталась с Гардинером и вернулась ко мне... или не вернулась, а завязала отношения с кем-то, кто стоит сейчас с ней рядом и молчит?

Может, Кейт говорит с неизвестным о проблемах, со мной вовсе не связанных?

Может, разговаривает по телефону?

Если бы кто-то отвечал, я расслышал бы тихий голос в трубке. Или не расслышал бы, если Кейт крепко прижимает аппарат к уху. Может, она специально пришла сюда, чтобы поговорить по телефону – здесь никто ее не услышит (я не в счет) и не увидит (я не увижу тоже). Может, ей приятно говорить с новым любовником в присутствии безмолвного и бесчувственного старого?

Кейт касается пальцами моей правой щеки, проводит до подбородка, губ, пальцы застывают на мгновение, будто она хочет, чтобы я поцеловал их. Она часто так делала, когда мы были вместе, и я целовал ее пальчики, один за другим, а потом...

Кейт резко выпрямляется. Услышала что-то, чего не расслышал я?

Цокот каблучков. Она уходит?

Открывается дверь – не тихо, не осторожно, а так, что я ощущаю движение прохладного воздуха из коридора. Кто-то стоит в дверях. Стоит и ждет. Стоит и смотрит. Стоит и думает. Мужчина. Почему-то я чувствую именно так. Симмонс? Гардинер? Кто-то из палатных врачей, не рассчитывавший застать здесь Кейт? Или, наоборот, кто-то, кого она ждала?

Каблучки цокают к двери. Стоявший в дверях отступает в коридор, пропускает Кейт, и ее шаги затихают. Слышу, как Кейт уходит, постепенно убыстряя шаг. Убегает. Слышу другие звуки: кто-то разговаривает, где-то очень далеко хлопает дверь. Еще какие-то звуки, которые я не могу распознать. В коридоре идет своя жизнь, а мужчина, спугнувший Кейт, все еще стоит в дверях и смотрит на меня, я чувствую его взгляд, пристальный, как угроза.

Наверно, это лишь эхо моего страха. Как я могу быть уверен, что кто-то на меня смотрит? Как я могу быть уверен, что это мужчина? Тем более – враг? У меня нет врагов,

кроме Гардинера, да и тот не считает себя моим врагом. Можно ли быть врагом бревну, лежащему под одеялом?

В дверях не Гардинер. Он всегда входит быстро и закрывает дверь за собой. Он всегда (не помню исключений) насвистывает под нос и прекращает свистеть, когда подходит ближе и начинает рассматривать данные на экранах.

Дверь тихо закрывается, щелкает собачка. Тишина становится ватной, тупой, безнадежной.

Теперь я точно знаю (или это лишь ощущение?), что нахожусь в другой идентичной реальности. То, что я хотел и боялся сделать, произошло вне моего желания.

Я знал, что не сумею побороть страх. Но подсознательно сделал все правильно. Мне ни к чему вспоминать уравнения третьей и пятой теорем – они стали частью моего «я». Но это все равно сделал я. Может, так и на фронте трус преодолагает страх? Не усилием воли, а «нутром», не понимая сам себя?

Неважно.

Может, в этой идентичной реальности нет Гардинера, и никто не собирается убивать меня с помощью замечательного препарата, не прошедшего клинических испытаний?

Может, в этой идентичной реальности Гардинер, если он существует, не имеет ничего общего с Аленой?

Почему я размышляю о происходящем, будто сторонний наблюдатель? Тот абстрактный квантовый наблюдатель, чья личность используется в инфинитном исчислении для описания бесконечных множеств несоотнесенных ветвей в независимых многомириях?

Вспоминаю Кейт, которой не было в *моем* мире, вспоминаю, как мы с ней познакомились и как расстались. Значит, должен помнить и Гардинера. Алену. Леру.

Слишком волнуюсь и не могу отделить истинные воспоминания от наведенных. Точнее – первоначальные от наложившихся в идентичных мирах. Так и должно быть?

Нужно успокоиться. Пока в палате никого нет, навести порядок в собственной памяти. Если это возможно.

Перед моим «взглядом» будто черная скатерть лежит на бесконечно длинном столе, смотрю на нее и начинаю знать – не видеть, не представлять, не ощущать, а именно знать, как знаешь, что дважды два четыре, солнце восходит на востоке, а между двумя точками можно провести прямую линию и притом только одну. Знание вспухает, как пирог, который Алена ставила в духовку, и он на глазах поднимался, становился высоким и на вид таким вкусным, что мне не терпелось приоткрыть дверцу и отрезать ломоть.

Что ж, я знаю теперь: доказательство шестой теоремы верно. Уравнение состояний показывает реальную идентичность любых миров в пределах любых видов многомирий, если выполняются условия Волкова. Я вывел эти условия, ими и воспользовался.

Половина третьего. Обычно в это время приходит Лера – забегает между лекциями, у них «окно» с двух до трех. Ее нет, и что это означает? Нет, потому что занята, или нет, потому что это другая идентичная реальность, в которой Лера никогда и не приходила ко мне посреди дня? Может, в этой реальности у меня с дочкой иные, не такие доверительные отношения?

Я должен это помнить. Леру в первой реальности, во второй... в третьей... Но память играет в странные игры. Я помню Кейт, которую не знал в *той* жизни. А Лера...

Пробегаю за пару секунд – маленькая Лера, мы оставляем ее у бабушки в Питере, Алена без дочки очень скучает, а я погружен в работу, мы видимся только летом, когда ребенок приезжает на каникулы. Лера в моей памяти одна, прежняя, и возникает новый страх: почему я не помню *эту* Леру? Не может такого быть, квантовая неопределенность не достигает таких больших значений; мир, где Лера существует, и мир, где у меня нет и не было дочери, не могут быть идентичными, это физически невозможно!

Да полно...

Существует бесконечное количество идентичных миров, в которых у меня нет дочери, и бесконечное количество идентичных миров, где у меня и жены нет и никогда не было, и

бесконечное количество идентичных миров, где я не попадал в аварию, и бесконечное количество идентичных миров, где я умер, а не впал в кому... И все это разные бесконечности, и ни одна из них в принципе (неравенство Волкова!) не может пересечься с бесконечностями моих идентичных миров, в океане которых я сейчас плаваю, как щепка, бросаемая волнами моего подсознательного из одной идентичности в другую.

Если Лера не пришла, значит, у нее что-то случилось.

Она не придет или...

Движение воздуха. Кто-то открывает дверь уверенной рукой. Не скрывается, как Кейт, не стоит на пороге, как неизвестный мужчина. Знакомое поскрипывание колесиков, знакомый запах лавандовой воды и больничной химии, смесь запахов, по которой я легко определяю миссис Куинберн, медсестру. Голос у нее молодой, говорит она, правда, редко, поскольку обычно приходит одна, совершает нужные манипуляции (меняет мне постель, переворачивает, обтирает гигиеническими полотенцами) и уходит, не проронив ни слова, но иногда в палату заглядывает кто-нибудь из врачей и называет медсестру по фамилии, иначе я бы не знал, что ее зовут миссис Куинберн. Разговор всегда профессиональный, многих слов я не понимаю, и, несмотря на молодой голос, мне кажется, что миссис Куинберн – женщина средних лет, может, сорока, может, даже старше. Не знаю, почему я так думаю. По тому, как она ко мне прикасается? По тому, как иногда бормочет что-то под нос, так тихо, что я не разбираю ни слова?..

Миссис Куинберн подходит к мониторам, минуту стоит неподвижно – видимо, изучает показатели. Обычно она этого не делает, это не входит в ее обязанности, а свое дело она знает. В этой идентичной реальности у нее другие обязанности? Что заинтересовало ее на экранах?

Наконец знакомые звуки и знакомые прикосновения. С меня снимают легкое одеяло, которым я был накрыт с утра, меня приподнимают за плечи и стягивают рубаху, воздух в палате прохладный, и мне кажется, я покрываюсь гусиной кожей. Миссис Куинберн натягивает на меня свежую рубаху и опускает на подушку. Немного поворачивает мне голову, чтобы я «смотрел» вверх, в потолок, хотя какое это имеет значение?

Вздыхает. Громко, отчетливо. Почему?

Мне не хочется, чтобы она ушла. Почему-то хочу, чтобы постояла рядом. Может, подержала бы меня за руку. Мне кажется, что, если миссис Куинберн будет держать меня за руку и думать о своем, я пойму ее мысли. Почему я не ощущал ничего подобного ни в присутствии Кейт, ни даже в присутствии Леры, чьи мысли обычно были для меня открыты? Раньше я догадывался, о чем думала дочь, по выражению ее лица, по тому, как она облизывала губы (когда была недовольна матерью), прижимала к щеке большой палец левой руки (когда рассказывала о школе, а потом о колледже)?

Это *другой* идентичный мир?

Пожалуйста, обращаюсь к миссис Куинберн, возьмите мою руку в свою. Не знаю, почему мне хочется, чтобы вы это сделали. Я просто хочу.

Пальцы миссис Куинберн касаются тыльной стороны кисти моей правой руки, лежащей поверх одеяла. Поглаживают.

Миссис Куинберн придвигает стул, садится и теперь уже крепко берет меня за запястье, будто хочет измерить пульс. Ей это ни к чему, частоту моих сердцебиений она видит на мониторе.

«Бедняга... Досталось тебе... Ужасно ничего не чувствовать. Ужасно ничего не знать. Я предпочла бы смерть. В другом мире меня ждут Мэг и Томми. Боже, я так хочу их увидеть, опять быть с ними! Почему Господь держит меня на этом свете, а их забрал к себе? Чем я согрешила перед тобой, Господи? Пожалуйста, допусти меня хотя бы поговорить с ними, с Мэг и Томом»...

О чем она? Вспоминаю. Знаю. Эта женщина уверена, что больные в состоянии комы – промежуточное звено между душами живых и мертвых. Довольно популярное верование, многие так считают, а некоторые специально устраиваются работать в больницы, чтобы

иметь возможность общения с умершими близкими.

Если держать за руку погруженного в кому больного, возникает канал связи с потусторонним миром. Души умерших получают возможность общаться с душами живых. Мэг и Том – дети миссис Куинберн, погибшие пять лет назад в авиакатастрофе, когда летели домой от отца. Бывший муж миссис Куинберн живет с новой женой в Льеже, и дети каждое лето проводили месяц во Франции. Миссис Куинберн провожала их в Хитроу и потом встречала, а в тот день не встретила и никогда не встретит. Никогда, пока жива. Она хотела умереть, но самоубийство – грех, и если она так поступит, ей не разрешат видеться с душами детей, когда она попадет на небо. Приходится доживать земную жизнь до конца, назначенного Господом, вот почему она устроилась (чего ей это стоило!) в больницу Джона Рэдкиффа, где большое отделение неврологии.

Простите, миссис Куинберн... Дороти... Простите, Дороти, но я не могу вам помочь. Я не верю в загробные миры. Если даже они существуют в бесконечности бесконечностей многомирий, эти реальности не являются идентичными, там действуют другие физические законы, и... вы понимаете... Не понимаете.

Я не могу вам помочь, но вы можете помочь мне. Послушайте меня, миссис Куинберн... Если в этой идентичной реальности я «слышу» ваши мысленно произнесенные слова, то, возможно, и вы поймете меня.

«Я только хочу услышать их голоса... Мэг и Томми... Узнать, все ли у них хорошо. Господи, я ничего не прошу для себя, позволь мне услышать голоса моих детей. Знаю, Мэгги и Том рядом с Тобой на небесном престоле, не может быть иначе, их души были так чисты...»

Напрасно. Она не чувствует. Слишком занята своими мыслями? Или мои мысли не воспринимаются, как не видна на экранах непрерывная работа моего сознания?

Может, вернувшись домой, расслабившись, успокоившись и примирившись заново с реальностью, миссис Куинберн вспомнит тихий голос, звучавший в ее мозгу, когда она просила Господа о встрече с погибшими детьми? Может, она воспримет мои желания, как свои, удивится, но поступит так, как прошу?

Пожалуйста, миссис Куинберн, скажите Алене, моей жене, что знаете: Гардинер собирается меня убить. «Только вы, Алена, – скажите ей, – можете остановить этого человека. Если в вас осталась капля порядочности». Алена посмотрит на вас с презрением, я знаю свою жену, она думает, что спасает меня, она не понимает и не поймет, поэтому вы, миссис Куинберн, пригрозите, что, если она не остановит этого человека, то вы, миссис Куинберн, расскажете журналистам об их связи, их намерении, их преступлении.

И что? Ну, расскажете. Кто поверит?

Если я и должен просить кого-то о помощи, то Кейт, а не медсестру, которая ничем мне не обязана и не станет портить себе и без того трудную жизнь.

Когда здесь была Кейт, я не ощущал ее мыслей. Кейт приходила в другой идентичной реальности, где не существует телепатии, а потом я переместился... когда?

Почему я не замечаю перемещений? Мое восприятие непрерывно, без стыков и, например, сдвигов во времени. Могу ли я ощутить момент перехода, если он подвержен квантовой неопределенности?

Пожалуйста, миссис Куинберн...

Пальцы, которыми она сжимает мою ладонь, вздрагивают. Дыхание учащается. Она продолжает бормотать что-то о Господе, детях, небесах, но слова превращаются в долгие звуки, отделенные друг от друга то ли квантами времени, то ли перескоками между идентичными реальностями. Будто в мозгу (моем или ее?) щелкает переключатель ветвей, и женщина (и я вместе с ней) каждое мгновение выбирает новую реальность, обозначая переход скачками звуковой гаммы.

Или я чего-то не понимаю?

«Господи, просвети и наставь меня, я, кажется, не выключила свет в кладовке, миссис Хадсон будет сердиться, ты не позволил мне услышать Мэг и Томми, приду опять, а

может, все-таки выключила, Доктор Гардинер, как он смотрел на его жену, а она, сказать Кэрролайн?.. Нет, все-таки выключила»...

Миссис Куинберн пожимает мне пальцы – каждый отдельно, будто пересчитывает, – и поднимается. Слышу, как открывается и закрывается дверь, щелкает собачка в замке.

Я остаюсь со своими мыслями.

Разумный наблюдатель, имеющий цель, в отличие от неразумного, цели не имеющего, способен преобразовать скалярные стохастические функции перемещений в векторные, причем размерность вектора зависит от числа размерностей рассматриваемых пространств. И направление вектора перемещения определяется целью.

Моя цель – не допустить, чтобы консилиум позволил Гардинеру применить «прогрессивный метод лечения». Более широкая цель – чтобы между Аленой и Гардинером не было ничего, кроме уважения жены больного к лечащему врачу.

Перемещаясь между идентичными мирами, я интуитивно выбираю направление, ведущее к цели. С каждым перемещением я приближаюсь к группе ветвей, в которых консилиум отвергает предложение Гардинера.

Я могу управлять событиями? Нет, лишь собственным выбором. Могу выбирать идентичную реальность, обладающую максимальной вероятностью приближения к целевому миру. Знаю, что это так, но пока не могу доказать.

А если я все-таки ошибаюсь?

Мне страшно. Случайны перемещения или нет?

Почему я ощущал мысль миссис Куинберн (если это была мысль, а не тихий шепот), только когда она держала меня за руку? Переместился ли я из *моего* мира, где телепатии не существует, в идентичную реальность, где мысли передаются через физический контакт? Следующее перемещение – в мир, где телепатия всеобщее свойство организмов?

Пытаюсь вспомнить, что я знаю об этом мире. Я должен помнить, как вспомнил Кейт и наши с ней отношения. Должен вспомнить, могу ли общаться телепатически с Аленой и Лерой – если могу, то отношения между нами должны были складываться совсем иначе, чем в *моем* мире.

Я могу вспомнить, поскольку жил здесь всегда, я здесь родился и помню, как мама, рассказывая мне сказку на ночь, рисовала персонажей в моем воображении. Сказки она сочиняла на ходу, произносила первое слово, понятия не имея, каким будет второе, и всегда у нее получалось замечательно. Ново и увлекательно.

Вспоминаю Алену – как мы бежали под дождем от электрички через лесок к даче ее дяди, от которой у нее были ключи. Хохоча, промокшие, мы ввалились в прихожую или, как ее называла Алена – сени. И я видел желание не в ее взгляде, но в мыслях, которые она и не старалась скрыть...

И Леру-маленькую помню: я увидел ее через два часа после рождения; мог и при родах присутствовать, но побоялся, не знаю, что на меня нашло.

Странная особенность идентичных миров вообще или конкретного идентичного мира? Можно предположить, что идентичная реальность с телепатическими свойствами – мир, чрезвычайно мало вероятный. Пользуясь инфинитной математикой, могу определить численное значение вероятности – бесконечно малое по сравнению с бесконечностью, но именно потому конкретное и вычислимое.

Как в этом мире может поступить Гардинер? Если намерен отправить меня к праотцам, он не должен об этом думать? В мире, где есть телепатия, существует и способ скрывать мысли. Несколько слоев мысли? Я знал людей, которые могли одновременно думать о разных вещах, никогда не понимал, как им это удается.

Я отвлекаюсь. Не могу пока понять и принять то, чему стал свидетелем.

Скоро придет Лера, в два в колледже заканчиваются лекции, десять минут, чтобы собрать вещи, попрощаться с подругами, пересечь Хэдли Вэй...

Нужно подготовиться: если Лера способна понимать мысли... Как мы общались раньше? Что она мне мысленно рассказывала? То же, о чем говорила в *моем... нашем...*

мире? Или я должен помнить что-то, чего почему-то не помню, и наше общение окажется для дочери шоком?

Я смогу проверить это только тогда, когда придет Лера, повесит на стул свою сумку (я предполагаю, что это сумка – дочь всегда что-то опускает на стул, я слышу характерный шелест и тихий стук), подойдет ко мне...

Дверь открывается. Резко, со стуком о притолоку, шаги пересекают палату. Дверь медленно закрывается, но не до конца, не слышу щелчка собачки. Вошедший оставляет дверь полуоткрытой, слышны звуки из коридора: кто-то прошел мимо, вдалеке кто-то монотонно говорит, но слов не разобрать...

Не ощущаю запаха духов – это не Кейт, не Алена. Не слышу характерного стука каблучков – это не Лера. И не миссис Куинберн, ее я узнал бы по запаху мыслей, не могу себе объяснить, что это означает физически, но я так чувствую и знаю, что не миссис Куинберн сейчас пересекла палату и остановилась у окна. Другая медсестра? Вряд ли. Дежурная сестра обычно заглядывает в пять – проверить работу аппаратуры, сменить капельницу, поправить постель.

Мужчина? Шаги тихие, но уверенные, широкие – в четыре шага он (она?) пересекает палату. Мне кажется, я ощущаю очень слабый запах одеколлона, стоявшего на полочке в ванной, я терпеть не мог душиться, но Алена «одеколонила» мне подмышки всякий раз, когда мы куда-то с ней отправлялись.

Если бы этот человек взял меня за руку, я смог бы, возможно, расслышать его мысли. Подойди, моя рука лежит поверх одеяла, легко взять за запястье...

Он отходит от окна и что-то бормочет себе под нос, так тихо, что я не разбираю слов. Действительно бормочет вслух, или я различаю его мысли?

Теперь, когда я знаю, что телепатия не противоречит физическим законам, во всяком странном звуке мне будет чудиться чья-то мысль. Человек (мужчина или женщина?) делает по комнате круг, шаги медленные, обувь мягкая. Останавливается справа от меня, достаточно близко, чтобы я расслышал дыхание. Мужское, тяжелое. Как я отличаю мужское дыхание от женского – не могу себе объяснить. Есть женщины, чье дыхание так же тяжело, как мужское, но все равно чувствую разницу, и теперь знаю точно: в палате мужчина.

В коридоре заметно тише: третий час, всё замирает, посетители обычно тоже не появляются, хотя Лера заглядывает ко мне по дороге из колледжа именно в третьем часу, и никто не чинит ей препятствий, значит, официального запрета не существует. Почему этот человек не закрыл дверь? Поспешит ретироваться, услышав, что кто-то идет по коридору? Но это глупо: если кто-то будет проходить мимо, и посетитель в это время выйдет из палаты, то непременно попадет на глаза.

Чего-то я не понимаю в этой реальности.

– Пожалуй, у него может получиться, – произносит низкий мужской голос, который я точно когда-то слышал, но не помню... отвратительное ощущение. Я мысли слышу или?... Зачем гостю говорить вслух, если он один? А почему мысленный голос звучит, как обычный? Чужие мысли, по идее, возникают в моей голове, и не обязательно слышать их так, будто человек разговаривает вслух. – Согласен. – Голос чуть отдаляется. – Но это не доказательство.

Почему я раньше не догадался? Конечно, он разговаривает по телефону. Я не подумал об этом, потому что при мне никто по телефону не говорил – видимо, это запрещено правилами.

Знакомый голос.

– Да, я понимаю. Конечно, продолжайте. Всего хорошего.

Ни одного имени не названо. Что происходит? Слабо верится, но похоже, я правильно выбрал вектор перемещения между идентичными мирами...

Человек (врач?) опускается на стул у компьютера и почти минуту не двигается. Тихо покашливает, точнее, хмыкает, как это делал отец, у него был хронический фарингит,

постоянная сухость в горле, у меня тоже в детстве это было, и мне одно время (в первом классе, кажется) смазывали горло вязкой сладковатой пурпурного цвета жидкостью...

Что он видит на экранах? Ровные линии, конечно. Что думает обо мне?

Слышу характерное постукивание пальцев по клавишам компьютера, сначала медленное, буква или цифра в пару секунд, потом быстрее, а сейчас торопится что-то записать, пока его не спугнули. В моей истории болезни? Или пишет личное письмо, не имеющее ко мне отношения?

Легко подсчитать... складываю... он нажал на клавиши двести тридцать девять раз. Не длинный текст. Все-таки письмо?

Я нахожусь – напоминаю себе – в идентичном мире, где существует телепатия. Как только я об этом подумал, сразу понимаю, в чем дело. Почему голос показался знакомым. При переходе между мирами память выкидывает странные штуки. Наверняка тому есть объяснение – почему я вспоминаю, почему нет, – мне это пока непонятно. Голос показался знакомым, потому что в этой идентичной реальности я его уже слышал. Память не сразу переключается, и потому...

Не надо волноваться. И бояться тоже. С тем, что происходит, я ничего не могу поделать. Я задал вектор перемещения, когда решил в общем виде (минут пятнадцать назад по моему внутреннему времени!) уравнение градиента, следствие четвертой теоремы. Я знаю (на опыте), как задать вектор, но не знаю, как его изменить (а нужно ли?).

Может, профессор Симмонс (конечно, как я его сразу не узнал?) не по телефону разговаривал, а...

Симмонс, да. Нейролог. Не мой, но и ко мне заглядывает. Обычно вместе с Гардинером. Друзья? Скорее соперники – насколько я понял из их разговоров, Симмонс специализируется на insultных комах, а не травматических. Оба метят на должность главного врача отделения. Мне кажется, я знаю Симмонса давно... не могу вспомнить. Мне кажется, что Симмонс уже заходил сегодня в палату, но и это воспоминание – на периферии сознания. Может, заходил. Может – нет.

Вместо воспоминаний всплывает знание. Я с этим знанием родился. Телепатия существует, да. Не та телепатия, какую имеют в виду в *моей* идентичной реальности (надо бы обозначить ее индексом один или ноль). Это *совсем* не та телепатия, хотя, конечно, обмен информацией. Не мыслями.

Симмонс делает три шага и останавливается у изножья кровати. Видимо, читает лист назначений. Хмыкает. Теперь вспоминаю: девяносто три дня назад он говорил Гардинеру (Алена при этом присутствовала, как-то получилось, что они оказались здесь все трое), что...

Что?

Не отвлекаться. Симмонс делает еще шаг и оказывается справа от кровати.

– Бедняга, – говорит он с неопределимым сожалением; это разговор с собой, но не на внутреннем мысленном уровне, какой никто в этой идентичной реальности не смог бы расслышать. Мысль из разряда высказываемых – направленная вовне, проговоренная. Не вслух. Про себя, но на вербальном уровне. Такими внешними мыслями я пользовался всегда. В этой идентичной реальности, поправляю себя. Помню, мама учила меня отделять мысли друг от друга – внешние от личных, – это первое, чем приходится заниматься родителям, когда ребенок начинает говорить. Умение составлять слова формирует «внешнее мышление». Первое слово, которое я «произнес» не вслух, а мысленно, сознательно отделив от мысли подуманной, было слово «хочу». «Хочу», – и я потянулся к броши на маминой груди. Красивая вещица, старинная, доставшаяся маме от бабушки, но ценность вещи я понял значительно позже, а тогда для меня это была просто блестящая штучковина, которую захотелось швырнуть на пол, и мама, конечно, оставила мое «Хочу» без удовлетворения, но крикнула отцу, читавшему газету за завтраком: «Гера, Ник отмыслил!» Мама тоже «отмыслила» свой крик, отец услышал – мысль предназначалась ему, – опустил газету, внимательно на меня посмотрел и сказал: «Славный мальчик». Я

тогда не понял, вслух произнес или внешней мыслью. Различать научился позже, к полутора годам...

– Бедняга, – повторяет Симмонс и прикасается пальцами к моему лбу, как это делала мама, проверяя, нет ли у меня температуры... не в этой реальности, а в той, *первой*. Хотел ли Симмонс, чтобы я отчетливее воспринял его внешнюю мысль – не знаю, ладонь была теплой, мягкой, успокаивающей и говорящей, как говорит всякая ладонь, если ее приложить ко лбу или к другой ладони.

Полагал ли Симмонс, что я могу его услышать? Нет, это я понял сразу. Ощущение не могло меня обмануть. Симмонс, как недавно миссис Куинберн, обращался не ко мне, а к той потусторонней силе, что стояла как бы за моей спиной, не позволяя мне умереть. Симмонс – я это почувствовал и не стал вспоминать, было ли это ощущение природным или приобретенным, – принадлежал к той же религиозной секте, что миссис Куинберн. Странно, что среди них оказался врач, но кто может предвидеть, какие нелепые идеи возникают даже у очень умных людей; вот и профессор Верховцев уверен в существовании дьявола, посвятил этой проблеме бредовую книгу, а ведь замечательный физик... в этой идентичной реальности. Я знаком с трудами Верховцева по квантовой криптографии, но сейчас не время для копаний в памяти.

– Жаль, что я ничего не могу для вас сделать, – продолжает Симмонс. – Невил, конечно, сволочь, но у него надежный тыл, документация безупречна, и, если я выступлю против на консилиуме, это будет расценено, как желание подложить свинью. Жаль, что вы никакой медиум. Вы даже не помогли Дороти услышать детей – и мне не поможете, я уверен. Все же попробуем, бесчувственная тварь, и, если получится... нет, вряд ли, с травматическими коматозниками не получается... но вдруг... тогда я сломаю Гардинеру игру. С помощью учителя.

Учителя? Что он имеет в виду? Внешние мысли у Симмонса встроены в мысли внутренние, мне не понять их взаимосвязи и взаимовлияния.

Ладонь сильнее прижимается к моему лбу, смещается к макушке, Симмонс будто примеривается, где находится на черепе нужная ему точка.

– Майстер, – говорит он, я чувствую, что какие-то слова он проглатывает, точнее, не думает их «вслух», я «слышу» лишь половину, а может, и того меньше.

– Майстер, к вам обращаюсь, ответьте. Мне нужна ваша помощь. Если Гардинер получит карт-бланш, он убьет двух зайцев сразу: отправит в твой мир этого безнадегу и женится на его вдове. И у него не будет серьезных оппонентов, когда он подаст на должность. Это парадоксально, глупо, бездарно, но такова жизнь, из которой вы так безвременно ушли, учитель. Вы помогли мне при жизни, помогите еще раз. Пожалуйста. Если безнадегу придет в сознание, Гардинеру конец, хотя большинство расценит это как победу препарата. Конец – потому что, выйдя из комы, безнадегу обвинит Гардинера в попытке убийства. Дороти... да и Винтер тоже, дружок его... мы расскажем безнадеге, наведем на нужную мысль. А если безнадегу умрет, то Гардинер победитель: смелый врач, рискнувший, пусть и проигравший (теория вероятностей рулит, да!), а смелые врачи, склонные к разумному риску ради прогресса медицины, побеждают всегда. Таким благоволят, вы знаете.

Разговорился, однако. Неужели Симмонс надеется, что некий Майстер с того света способен вывести меня из комы вернее, чем ницелантамин? Каким нужно быть фанатиком, чтобы надеяться на это?

Я понимаю, вспоминаю, чувствую, что все не так. «Общение» с умершими через медиумов – распространенное поверье, которому подвержены даже некоторые физики, люди рациональные по определению.

– Учитель, помогите, верните безнадегу в сознание.

Я слышу его, а он не может услышать меня.

Симмонс продолжает бормотать все тише и наконец умолкает, прячет оставшиеся мысли. Я думаю о том, что правильно выбрал тензор перемещений, а, значит, верно

доказательство пятой теоремы. В *моем* идентичном мире я был бессилен перед подлостью Гардинера и предательством Алены. В каждой следующей реальности я оказывался ближе к результату, который был мне нужен.

Нет. Мне хочется так думать, но... Такие «переходы» я рассчитать не могу. Нужно задавать диапазон направлений, вводить бесконечномерный тензор, я еще не умею решать такие задачи, и никто пока не умеет, а потому и думать не нужно, только зря предаваться бессмысленным надеждам.

Симмонс поднимается. Мысли он держит при себе, и я представления не имею, к какому решению он пришел. Учитель ему ничего не посоветовал, медиум из меня никудышный, это так.

Симмонс поправляет на мне одеяло, возвращается к компьютеру и довольно долго стоит неподвижно – кажется, что смотрит не на экраны, а в себя, что-то для себя решает, не позволяя мыслям всплыть на поверхность сознания. Хотел бы я знать, о чем он думает.

Вспоминаю, наконец, как мы с Симмонсом познакомились. На моей лекции в университетском Центре медицинских наук. Я рассказывал медикам о возможном применении инфинитного анализа в квантовой криптографии – в рамках общеобразовательной программы. Пытаюсь уточнить время, но не получается: меня будто привязывает к моменту, когда я схожу с кафедры, слушатели уже встали с мест, я дожидаюсь у проекционного лазера, пока освободится аудитория. Тогда он ко мне и подошел. Высокий, плотный, с короткой шеей и круглым лицом, на котором выделялись густые черные брови под довольно большой лысиной.

«Доктор Волков, я Остин Симмонс, нейролог из госпиталя Святого Патрика».

Вот как. Сейчас он один из ведущих врачей отделения. Профессор. Значит, преподает, в отличие от Гардинера. И работает уже не в Святом Патрике, а в клинике Джона Рэдклиффа. Наверно, сейчас у Симмонса лысый череп – интересно, не сбрил ли он брови для равновесия картины?

«Очень приятно, – сказал я и не удержался от внешней мысли. – Что вас, врача, привлекло в моей лекции?»

Симмонс ответил, не разжимая губ, не хотел, чтобы слышали другие:

«Вы ведете курс квантового многомирия?»

«Инфинитный анализ многомировых интерпретаций, – поправил я. – Я больше математик, нежели физик».

«Прошу прощения, я не разбираюсь в этих тонкостях. Хотел бы задать вопрос. Долго раздумывал, как вы воспримете... В наше время далеко не все принимают...»

«Задавайте», – прервал я его растянувшуюся кольцами цепочки мысль.

«Среди бесконечностей миров, о которых вы говорили, доктор, наверняка есть и миры, которые мы называем потусторонними...»

«Трудно об этом судить на нынешнем этапе развития инфинитной математики, – попытался я сформулировать внешнюю мысль как можно более четко, отделив ее от мыслей внутренних, которые, будь они услышаны Симмонсом, вряд ли ему понравились бы и наверняка поставили бы под удар его мировосприятие, ставшее мне понятным по тому, какой вопрос был задан. – Потусторонние миры, а точнее, миры, куда, возможно, попадает душа после смерти, в любой формулировке принципа неопределенности не могут быть идентичными, вы, надеюсь, это понимаете».

Какая-то мысль всплыла на поверхность сознания Симмонса, но он быстро ее упрятал.

– Понимаю, – произнес он почему-то вслух.

Я тоже перешел на открытую речь, так мне было проще формулировать.

– Есть ли у человека душа? Это вопрос веры, а математика – даже в ее инфинитном варианте – не способна сформулировать...

– Да-да, – перебил он меня. – Не хочу спорить о возможности существования души, о спасении и о Боге. Но предположим... только предположим, математика ведь допускает предположения, а потом пробует их доказать или опровергнуть...

Это неверное понимание современной математики, но спорить я не собирался и потому лишь кивнул, ожидая продолжения.

– Итак, если предположить, что есть Бог, есть душа, то, значит, есть и жизнь души после смерти тела. И существует, по идее, бесконечное число миров, в которых обитают бессмертные души во всех их неисчислимых проявлениях.

Что он знает о математике неисчислимых бесконечных? Наверняка – ничего. Для него это только фигура речи.

– В любом случае, – повторил я, – эти реальности не идентичны нашей, и принцип неопределенности не позволяет...

– Да-да, – перебил он опять и перешел на внутреннюю речь:

«Это миры духовные, и связь между ними духовная, не физическая. Математика описывает идентичные реальности по законам квантовой неопределенности, но, может, и в духовных мирах, которые математика описать не может, существуют свои идентичные миры, с одинаковыми – в пределах той же неопределенности – законами духовности, и наша душа способна перемещаться в идентичных духовных мирах и, значит, общаться с душами умерших, с нашими близкими, а еще...»

Он скрыл окончание мысли, но я понял, что он хотел «сказать». «А еще с ангелами, апостолами и, может, даже с Богом».

Которого нет.

«Боюсь, – сказал я, – современная математика не способна даже поставить такую задачу».

«Математика или математики?» – по напряжению его мысли я не смог определить, иронизирует ли он.

– Спасибо за лекцию, доктор Волков. Несмотря на.

Тогда я не стал размышлять над словами Симмонса. В Бога не верю, как и в духовные миры, если подразумевать под ними миры потусторонние.

По ночам в отделении унылая тишина всеобщего сна, а я не сплю, моему сознанию не нужен отдых. Тогда (если не занят вычислениями) я размышляю о том, что представляет собой мое «я», способное сказать о себе: «Мыслю, следовательно, существую».

Судя по ощущениям, сознание – «я», буду говорить так – устроилось в моей черепной коробке. Я слышу ушами (так мне кажется), перед глазами иногда вертятся разноцветные круги, мне доступны тактильные ощущения и запахи, но, с другой стороны, я не чувствую боли. Но, может, это результат фармакологии и действия эффективных обезболивающих?

Я ощущаю себя в голове, мой дух не покидает тела, не возносится под потолок, я не вижу себя сверху, лежащим на подушках под капельницами.

С другой стороны, я и единения с телом не ощущаю – «я» отдельно, а тело само по себе, я не могу им управлять, оно мне не подчиняется (собственно, это и называют травматической комой). Работа моего сознания (часто настолько интенсивная, что я сам удивляюсь собственной способности разбираться в математических проблемах, которые раньше не мог даже сформулировать) никак не связана с состоянием тела и не отражается на показаниях многочисленных датчиков. С точки зрения врачей: ни малейшего проявления мозговой активности, никакой реакции на свет, боль, жару или холод. Глубокая кома, в общем.

Что же тогда такое мое мятущееся сознание? Что такое мои нынешние мысли, переживания? Что во мне борется с намерением Гардинера покончить со мной самым гуманным и, главное, официально разрешенным способом?

Может, действительно, мысль, сознание не материальны? И когда мозг умирает, сознание остается? Остается то, что называют душой? И душа бессмертна, не ограничена в пространстве-времени – следовательно, является предметом инфинитного анализа?

Нужны новые постулаты. В духовных (потусторонних?) многомириях, вероятно, существуют свои идентичные реальности... если к ним применимы законы квантовой физики и, прежде всего, принцип неопределенности.

Допустить можно что угодно. Мне это сейчас не нужно. Я хочу, чтобы Симмонс выполнил для меня определенные действия. Чтобы определенные действия выполнила миссис Куинберн. Чтобы определенным образом поступила Алена и чтобы мне помогли Лера и Кейт. Больше мне рассчитывать не на кого. Я не могу ни о чем их просить. Меня для них нет.

Что я могу? Перемещаться (что перемещается-то? Я-сознание? Я-общность сознания и тела? Что?) из одного идентичного мира в другой. Могу (хочется верить, что могу – доказательств нет) выбирать тензор траектории, приближающей меня к цели: идентичной реальности, где Гардинер не применяет ницелантамин для моего «спасения». Хорошо бы оказаться в идентичной реальности, где между Гардинером и Аленой не было и нет... э-э... романтических отношений.

Симмонс возвращается к кровати, резко передвигает (ногой?) стул, не садится, я слышу его дыхание, но не воспринимаю мыслей. Чего он хочет?

Ладонь – холодная, как лед, – касается моего лба. Прижимает голову к подушке. Что он собирается сделать?

Ничего.

Просто я уже в другой идентичной реальности, и это – другой Симмонс, которого я не знаю, не успел вспомнить, как мы с ним познакомились *здесь*. Не знаю, чего он хочет от меня *сейчас*.

Задаю себе вопрос, не занимавший меня в прежних рассуждениях. Могу ли я задать тензор перемещения, чтобы оказаться в идентичном мире, где я уже был раньше? Или принцип неопределенности запрещает? Понятно, что перемещение происходит в заранее не определимый (из-за квантовой идентичности) мир, принадлежащий к бесконечномерной группе – число ветвей различных многомирий так же бесконечно, как бесконечно число самих многомирий. Инфинитный анализ позволяет выделить группу перемещений, но могу ли я выбрать конечное число ветвей, а среди этого, уже счетного, множества, отобрать еще более ограниченную группу, в которой выделить единственную конкретную идентичную реальность – ту, к примеру, в которой я существовал изначально, или ту, в которой хотел бы оказаться?

Задача поставлена некорректно, поскольку число идентичных миров не может быть конечным, но мне сейчас все равно, я хочу ощутить момент осознания, Прозрение.

Я хочу мир, где Алена меня любит и никогда не предаст. Мир, где Лера счастлива со своим Кеном, и он никогда не предаст ее. Мир, где Гардинер и в мыслях не имеет использовать в собственных целях (нет у него таких целей!) новый препарат, который, хотя и прошел эксперименты на животных и допущен к клиническим испытаниям, не дает необходимой гарантии.

Хочу в мир, где нет сектантов, пытающихся использовать меня для общения с умершими предками. Хочу...

Могу?

Пытаюсь выделить группу перемещений, ограничивая свойства тензора с помощью уравнений третьей и шестой теорем. Не получается. Симмонс мешает своим присутствием. Он все еще касается ладонью моего лба, и мне кажется, ощущает мои мысли, понимает, что я в полном сознании. Все, о чем я сейчас думаю, доступно ему? Он способен воспринять (пусть и не понимая, он не математик, и в физике наверняка полный профан) мои соображения о тензорных переходах?

Быстрые шаги в коридоре. Дверь приоткрыта, и я различаю знакомый звук каблучков на фоне обычного больничного шебуршения, воспринимаемого подсознанием.

Лера. Она немного опаздывает сегодня. Три-четыре секунды, и она войдет. Впервые за двести тридцать семь дней я хочу растянуть эти секунды. Вспомнить. Лера, я не знаю, какая ты в этой реальности. Как мы жили – здесь? Подожди. Не входи. Не...

Звук каблучков стихает – будто отрезало. Будто Лера остановилась, не дойдя до двери двух-трех шагов. Последняя секунда замерзает, ладонь Симмонса все еще лежит на моем

лбу, теплая, тяжелая. Ненужная.

Вспоминаю: как-то мы с Лерой (Алена пойти не захотела, сослалась на усталость) были на вечере в колледже Брасенас, слушали профессора Наумера из Гейдельберга – о жизни после смерти. Наумер? Вспоминается другое имя... Из *первой* реальности. Моуди. «Жизнь после жизни», «Жизнь после смерти». С Моуди все ясно – для меня, во всяком случае. Недобросовестный с методологической точки зрения эксперимент, личность экспериментатора здесь ни при чем. А Наумер? Он приводил примеры, аналогичные рассказанным Моуди. Другая идентичная реальность, другие примеры, Наумер рассказывал о корректных, с точки зрения методологии обработки экспериментальных данных, контактах с душами умерших людей. Его методика отличалась от...

Новые воспоминания всплывают трудно, а Симмонс не дает мне сосредоточиться. Ладонь он отдергивает, и – слышу вполне отчетливо – произносит ругательство.

Каблочки опять стучат. *Другие* каблочки, не те, что минуту назад. Лера. Опаздывает, торопится. Другая Лера в другой уже реальности, из бесконечного числа идентичных реальностей, в которых Лера, спешит ко мне: поговорить и убежать по своим делам. Ощущение, будто она присела в коридоре на стул (есть там стулья, наверно?) и передела обувь, как женщины, придя в театр, меняют сапожки на праздничные туфли.

Симмонс быстро идет к двери, на мгновение останавливается, будто оглядывается и бросает на меня взгляд. Взгляд впивается мне в лицо, как рой комаров, они не кусают, только покусывают.

Дверь открывается настежь, а потом захлопывается с громким стуком, который Симмонс не пытается приглушить. Нет смысла – Лера наверняка видит, как из палаты выходит врач.

И опять открывается дверь, каблочки переступают порог. Запах духов – эти духи Алена подарила дочери на пятидесятителетие, и Лера ни разу им не изменила. Даже в этой идентичной реальности.

Лера кладет на стул у компьютера что-то довольно тяжелое (сумку?), подходит к кровати, наклоняется и целует меня в губы.

Дежа вю. Так целовала меня Кейт. Лера никогда не целовала меня в губы, и я ее тоже. Я редко целовал собственную дочь – даже в щеку или в лоб. Гладил по голове, когда Лера была маленькой, а когда выросла, то касался щеки ладонью, дочь прижималась ко мне – на мгновение, не больше! – и мы оба чувствовали такую взаимную близость, какой не достигнешь никакими поцелуями.

Духи... В первый момент мне показалось, что это духи Леры, но сейчас понимаю, что так пахла Кейт.

Лера ли это? Может, в палату вошла (походкой Леры?) Кейт?

Конечно, Лера. Кто еще садится на край кровати? Кейт никогда этого не делала. И голос:

– У тебя сегодня сухие губы...

А вчера были влажными? Голос Леры, ее пальцы касаются моей руки, лежащей на одеяле.

– Тебе, наверно, недостаточно воды, я скажу миссис Куинберн.

Тембр голоса меняется, Лера переходит на внешнюю мысль:

«Родной мой, я больше не могу так... Прости... Лучше так, чем так... И для тебя. И для меня».

Она замолкает, но внутренний монолог продолжается – ее мысли скатываются на более глубокий, недоступный внешнему восприятию, уровень сознания.

О чем она? И кто?

Лера? Кейт? Невозможно представить, что в палате они обе, и каждая по очереди...

Глупо – так думать. Но...

Возникшая сама собой мысль проста и объясняет происходящее.

Вспоминаю: года еще четыре назад, когда я после переезда в Оксфорд работал у

Харрингтона... Харрингтон? Все эти годы я...

Не нужно спорить с собственной памятью! У Харрингтона – значит, у Харрингтона.

Как-то в дискуссии с ним (обычно мы спорили очень вежливо, но в тот раз повздорили, профессор даже назвал мою идею «эээ... немного чепуховой, знаете ли!») у меня возникла мысль о том, что процессы склеек, которые пока остаются вне рассмотрения в силу сложности и не рассматриваются даже в качестве малых поправок, эти процессы, тем не менее, обязаны происходить в идентичных многомириях. Интуитивно это понятно, но теорему присутствия для склеек идентичных реальностей пока невозможно ни сформулировать, ни, тем более, доказать.

Склейка?

Лера? Кейт? Здесь и сейчас? Могу я воспринимать сразу две идентичные реальности, в одной из которых ко мне пришла Кейт, в другой – Лера? И память моя тоже принадлежит сейчас двум реальностям (почему двум, а не бесконечному числу, если уж произошел такой «прорыв», не учтенный ни одной из теорем инфинитного анализа?)?

Лера (Кейт?) опять наклоняется ко мне.

«Родной мой, так будет лучше для нас обоих»...

– Кен встретит меня, и мы пойдем в паб, он говорит, что стесняется тебя, но, по-моему, ему неприятно, а мне неприятно, что неприятно ему, понимаешь...

«Я приду к тебе позже»...

– И я не знаю, что ему сказать, он хороший, но иногда ведет себя странно, а маме он вообще не нравится...

«Я люблю тебя, Влад»...

Они говорят одновременно, одна внутренним монологом, другая вслух, и я чувствую, как губы Кейт (теперь я различаю их прикосновения, они такие разные!) целуют меня в лоб, а Лера берет мою правую ладонь обеими руками и качает ее, будто младенца.

Они не видят друг друга? Очевидно. Две идентичные реальности склеились только в моем восприятии. Лемма Менского: миры поворачиваются своими гранями в нашем сознании, а квантовая идентичность объединяет реальности в пределах принципа неопределенности.

Я не слышу больше голоса Кейт, не ощущаю ее присутствия. Склейка закончилась? Спонтанно, или я подсознательно перешел в идентичную реальность без склейки? Не могу понять. Думаю, что переход произошел по моей воле. Я ведь хотел побыть с Лерой, узнать новое о Кене. Хороший мальчик. Правда, ни разу не пришел ко мне с Лерой, всегда ждет ее в холле. Могу его понять. Мне на его месте тоже было бы неприятно...

«Папочка, я его попробую позвать, хочу, чтобы он сам рассказал тебе о том... как»...

Она не находит нужных слов, даже на верхнем уровне мыслей. То, что Лера хочет выразить, не определяется словами. Между ней и Кеном произошло что-то важное, им нужно побыть вдвоем, прочувствовать новое состояние, поэтому Лера сама не своя.

«Не надо, – думаю я без надежды быть услышанным, – не приводи его сюда сейчас, побудь с ним и скажи себе слова, которые даже мысленно не решаешься произнести. Скажи сейчас. Сейчас, здесь. Скажи мне прежде, чем скажешь ему».

Лера опускает мою ладонь на одеяло и поднимается. Кровать отзывается едва заметными колебаниями. Она не слышит меня. Как всегда.

– Я люблю. Люблю. Люблю.

Она много раз повторяет «люблю» на разные лады, вслух и внешней мыслью, и я наконец разделяю: мысль обращена к Кену, с ним она разговаривает так громко, что он слышит, ожидая Леру в холле, в кресле перед висящим на стене телевизором. Образ мгновенно пролетает в моем сознании. Вслух Лера обращается ко мне:

– Папа, я все равно люблю тебя...

Это «все равно» так замечательно искренне, что я не обращаю внимания на ужасную суть.

«Я тоже люблю тебя, доченька».

Лера выбегает из палаты, не закрыв дверь, и я слышу, как ее шаги – цок-цок – удаляются по коридору.

Хорошо бы сейчас вернулась Кейт, мне нужно послушать, что скажет она.

Все не так, как мне представлялось еще час назад. Сейчас я знаю гораздо больше. Сейчас я гораздо больше могу. И если бы не лежал бревном, если бы сидел перед компьютером в своей лаборатории... опубликовал бы результат? Конечно. Я математик, а не алхимик, обнаруживший философский камень.

Но если бы я не лежал бревном, если бы сидел перед компьютером все эти месяцы – сумел бы получить тот же результат? Рассчитать то, что сделал интуитивно, в уме, в своем, не зависимом от тела, сознании?

Не уверен.

Может ли быть, что за эти восемь месяцев кто-то сумел сделать то, что получилось сегодня у меня? Дорштейн? Вряд ли, он далек от прикладных применений. Шведер? У него не хватит физической интуиции.

О чем я думаю? Соперники, конкуренты... Я смог, и только что случившаяся склейка – убедительное доказательство.

Страх накатывает волной. Так страшно мне было только в детстве, когда однажды мама оставила меня играть во дворе. Вбежала огромная собака, показавшаяся мне, пятилетнему, ужасным чудовищем из андерсеновской сказки о солдате: глаза размером с тарелку. Собака была черной, как дьявол, каким я представлял его, не понимая, кто такой дьявол «на самом деле». Я сполз с качелей, а собака медленно приближалась и смотрела на меня с тупой угрюмой злобой. Некуда скрыться. Некого звать. Невозможно отвернуться, не смотреть на приближающуюся смерть. Я не понимал, что означает «смерть». Кошмар заполнил двор, улицу, город, вселенную...

Не помню, что было потом. Собаку отогнали? Ушла сама? Ничего не помню. Только кошмар – как клип из фильма ужасов.

Когда сознание не подчиняется разуму, оно во власти инстинктов. Подсознательного. Бесконечное число идентичных миров склеивается и хаотически выдавливает реальность. Мою.

Страх – хаос. Ненавижу хаос. Особенно в себе.

Страх отступает. Я сумел с ним справиться, или что-то отогнало огромную черную собаку с глазами-тарелками? Мне кажется, я вспотел, но это не так, иначе завопил бы сигнал тревоги (или что там сигнализирует об изменении моего состояния).

Страх порой делает человека отважным. Парадокс? Мне как-то рассказывал Джейк Стро, который в молодости провел два года и семьдесят шесть дней (он всегда называл точное число) в Афганском корпусе, когда службу (правда, не в их полку) проходил принц Генри. «Если мне не было страшно, – рассказывал он, – я тупо выполнял приказы, я был робот. А когда накатывал страх, мог действовать сам, со страху как-то пошел один на десяток талибов и... не помню, что было потом, мне рассказали... я их всех сделал».

Сознательное желание дает сильнейший пинок эмоции страха перед предстоящим, тогда и происходит переход – что-то в мозгу перестраивается, может, это душа, может, нейронные связи, определяющие работу мозга, как квантового компьютера. Понятия не имею, что происходит физически, но, чем сильнее страх, тем, похоже, точнее происходит переход.

Мои мысли, всплеск ужаса занимают двадцатую долю секунды, внутренние часы работают исправно.

Этот идентичный мир, если я правильно задал тензор, должен быть ближе по свойствам к *исходному*. А может, нет.

Прислушиваюсь. Дверь, видимо, приоткрыта, прохладный воздух тянется струйкой из коридора, и я слышу: кто-то быстро проходит мимо палаты, кто-то с кем-то довольно громко разговаривает в конце коридора – мужчина и женщина, почему-то не по-английски... и не по-русски... этого языка я не знаю. Что-то африканское.

Я в идентичной реальности, где в клинике Джона Рэдклиффа говорят по...

Испугаться и – прочь!

Но мне не страшно. Знаю, что выбрал правильно. Двое в коридоре умолкают и после короткой паузы переходят на нормальный английский, слышу каждое слово.

– Двенадцать кубиков внутривенно, и проследи за температурой. (Голос мужчины, и я вспоминаю – интерн Баур, родом из Ганы, замечательный человек, чуткий, из него получится прекрасный врач, он обычно приходит ко мне рано утром, перед обходом, проверяет состояние – все по-прежнему, – вздыхает, жалеет меня.)

– Хорошо, Юни, не забудь – в семь у кафетерия. (Женский голос я узнаю тоже: сестра Вини, они оба из Ганы, в Англию приехали вместе, точнее – одновременно, в рамках программы «Медицина – миру» или что-то в этом духе, о программе я слышал очень немного, началась она несколько лет назад, я тогда не интересовался ничем, кроме инфинитной математики.)

Голоса приближаются. Вини и Юни проходят мимо палаты, я отвлекаюсь и не слышу отдельные слова, но воспринимаю их эмоции, взаимное дружеское притяжение. Почему-то понимаю, что притяжение именно и только дружеское.

И кто-то из них – возможно, оба – знают то, что хочу узнать я. Хорошо, если бы они вошли, встали по обе стороны кровати и заговорили о том, что меня интересует. О том, что им известно, а мне нет. Но они уходят по коридору, и я перестаю их слышать.

Не слова, сказанные ими, подсказывают решение. Эмоции. В этом идентичном мире мысли скрыты, но эмоции понятнее слов. Проходя мимо палаты, Вини бросила взгляд в полуоткрытую дверь, увидела меня (только ноги) и – нет, не пожалела, а возмутилась. Не первый раз. Но что-то мешало ей высказаться вслух.

Она знает. Смогу узнать и я.

И успокаиваюсь. Я никогда не был так спокоен. И так взволнован тоже не был. И еще мне страшно, конечно. Спокойствие, взволнованность, страх, уверенность. Может ли совместиться – четыре в одном? Страх позволил мне полностью раскрыть подсознательное, и я, такой, каким был до аварии, я, любивший Алену больше всего на свете, я, обожавший Леру, я, лучше всех на этой планете понимавший и понимающий суть исследований идентичных реальностей в инфинитной математике, сейчас я нахожусь в четырех идентичных мирах одновременно (в моем субъективном времени, конечно, поскольку при склейках идентичных миров понятие реального времени исчезает, становится величиной неопределенной и не определимой).

В моем времени, повторяю я, чтобы свыкнуться с этой мыслью и стараюсь не пытаться вспомнить то, что снесет мне крышу: себя в шести идентичных мирах. Мне и сдвоенная память доставила неприятные минуты. Хорошо, что я забываю ненужное, как только перехожу в новую идентичную реальность.

Я сделал это. Они должны быть здесь – все шестеро. Лера. Алена. Гардинер. Симмонс. Миссис Куинберн. И Кейт.

И первой придет Лера.

Она уже прихо... Не здесь.

Я ничего не смогу понять, если Лера не будет сидеть рядом, держать меня за руку, шептать слова, которые мне нужны, и желать самого лучшего, что она может пожелать самому близкому человеку на свете.

Дверь приоткрыта, и Лера на мгновение остановится в коридоре, оглянется, она привыкла, что дверь в мою палату всегда закрыта, но сегодня все не так, сегодня и в ее жизни все идет не так, как раньше.

Шаги. Каблучки. Лера. Я уверен в этом.

Она на мгновение замирает перед полуоткрытой дверью, оглядывается по сторонам (я так предполагаю), тихонько протискивается в палату, закрывает за собой дверь, и собачка тихонько тявкает. Звук заставляет Леру вздрогнуть, она взволнована, только что поссорилась с Кеном.

Запах духов. Лера.

Она медленно проходит к столу, показания на экранах успокаивают ее, показания не меняются уже двести тридцать семь дней, на экраны можно не смотреть.

Лера коротко вздыхает и подходит, наконец, ко мне. Придвигает стул, садится и – знакомый жест! – берет мою ладонь, крепко пожимает ее всеми пальцами. Все хорошо, Лера. Все у тебя будет хорошо. Посиди со мной.

Я не слышу ее внешних мыслей, только дыхание – значит, я рассчитал верно. Этот идентичный мир бесконечно ближе *изначальному*. В пределах квантовой неопределенности, но с этим ничего не поделаешь.

Кто придет следующим? Последовательность я не рассчитал, не настолько я хороший математик. Смог задать тензор для подмножества, но продумать еще и последовательность – нет, не в состоянии.

Лера держит меня за руку и думает о своем, не обо мне, нервничает, пальцы то сильнее сжимают мою ладонь, то разжимаются, острые ногти царапают, не больно, но чувствительно. Она тоже ждет кого-то?

Поворачивается ручка двери. Замирает. Кто-то пережидает в коридоре, когда кто-то пройдет мимо. По приглушенному звуку понимаю, что мимо проходит санитар, толкая коляску с бельем, она тяжелая и чуть поскрипывает.

Звук коляски удаляется, дверь открывается рывком, и я слышу, как со всхлипом вздыхает Лера, увидев вошедшего.

– Мама? – растерянно говорит она.

Это действительно Алена – запах ее духов смешивается с духами Леры, я перестаю их различать, это теперь и неважно, разве что появится Кейт, тогда еще один запах создаст причудливую смесь, в которой я ничего не смогу разобрать.

Алена обходит кровать, становится напротив Леры, наклоняется, опираясь ладонью о мой живот, будто я не человек, а точка опоры, и целует меня в губы... О Господи, и она тоже... Утром я не заметил бы разницы, но сейчас мне кажется, что жена вложила в поцелуй гораздо больше чувства, чем обычно. Новый контекст, послание – не для меня, скорее всего. Что она может мне сказать? Поцелуем Алена что-то доказывает себе.

Вспоминаю... Мы несколько месяцев были вместе, но еще не оформили отношения, чувства наши оставались свежими, каждый поцелуй отличался от другого такого же, каждое прикосновение обладало особой значимостью, и каждая ночь была первой, единственной и последней. Мы возвращались из кафе, где посидели с Олегом и Ольгой, знакомыми по институту, они недавно поженились, и Алена говорила, что общего между ними только имя, одно на двоих. Я выпил чуть больше обычного, и мы шли, обнявшись, я делал вид, что валяюсь с ног, Алена делала вид, что удерживает меня от падения в лужу. Я повернул к ней лицо, невозможно было не поцеловаться, и поцелуй тот, будто случайный, но ожидаемый и необходимый, был в точности таким, как сейчас: будто вскользь и крепче, чем прижимаются друг к другу магдебургские полушария; скользящий, потому что иначе губ не оторвать...

Я потрясен. Или это лишь игра воображения?

Прислушиваюсь к разговору Алены с Лерой, важно каждое слово, каждая интонация, каждый вздох и, конечно, каждый взгляд, но о взглядах могу только догадываться.

– Кен ждет тебя в холле.

– Да? Я сказала ему, чтобы не ждал.

– Ты собираешься пробыть здесь еще долго?

– Мама, я тебе мешаю?

Пауза.

– Мне? – удивленно. – Нет... Я подумала, что ты...

– Что? – с вызовом.

Пауза. По-моему, Алена пожимает плечами. А может, мать и дочь смотрят друг на друга и взглядами говорят то, что я бы хотел услышать.

Разговор представляется мне... как бы точнее подумать... перевернутым. Фразы, которые произносит Лера, должна была произнести Алена. И наоборот. Я неправильно рассчитал? Эта идентичная реальность принадлежит к другому классу многомирий?

Без выводов. Только слушать.

– Ничего, – вздыхает Алена и добавляет, будто невзначай: – Я говорила с Дороти.

Кто это? Память подсказывает, будто двоичнику у доски на уроке географии: миссис Куинберн. Лера задерживает дыхание, а потом шумно вздыхает, будто ее ударили в солнечное сплетение.

Что такого сказала Алена?

– Мама, – голос у дочери сухой, как последний осенний лист, – все, что болтает эта женщина, – чушь.

– Да? – деланное равнодушие. – Может быть. Она...

Алена не успевает договорить. Быстрый укол страха, понимаю, что идентичная реальность сменилась, пугаюсь опять – на этот раз тому, что могу оказаться один, или Лера здесь одна, или Алена, но нет, дочь и жена по-прежнему стоят по обе стороны кровати, а за дверью громкий кашель. Нарочитый – так кашляет человек, предупреждая о своем присутствии.

Лера и Алена молча прислушиваются.

Мир замирает в предчувствии нежданного и ненужного. Ненужного – Алене с Лерой. Мне-то человек, стоящий за дверью, необходим, я даже понимаю причину, но кто там, пока не знаю. Я лишь задал тензор перемещения, это как задумать желание и активно думать о том, чтобы оно исполнилось. Никогда, однако, в моей жизни не случилось, чтобы задуманное исполнялось так, как я хотел. Бывало, происходили более приятные и нужные мне события, но всегда другие, не те или не совсем те, что загадывал.

В дверь тихонько стучат. Похоже – костяшками пальцев. Врачи, медсестры, санитары не предупреждают стуком о своем желании войти.

– Это кто еще? – удивленно спрашивает Алена.

Лера молчит – возможно, пожимает плечами.

Алена обходит кровать и решительно распахивает дверь – ей, мол, скрывать нечего, входите кто хочет.

– Ой! – голос Леры.

– Добрый день, – сухо произносит Алена.

– Я могу войти? – Это Кейт, голос ее звучит чуть насмешливо, она, похоже, наслаждается произведенным впечатлением.

– Войдите, – разрешает Алена и отходит к компьютерному столу. Не садится, что-то на столе передвигает (клавиатуру?) и, наверно, опирается ладонью на край, этот ее жест я прекрасно знаю, дома она часто так делала, будучи не в настроении: казалось, стол был ей не только физической опорой, но и психологической защитой.

Кейт входит – неуверенно, она не знает, как себя вести. Сам не раз попадал в подобные ситуации: идешь на встречу с нужным человеком, продумываешь все до мелочей, ноходишь и в первое мгновение все равно теряешься...

Кейт обходит кровать и останавливается там, где только что стояла Алена – напротив Леры. Возможно, они смотрят друг другу в глаза. Алену Кейт не видит – компьютерный стол за ее спиной. Алена, по-моему, тихо шипит от злости, но позы не меняет – взгляд ее (ощущаю чуть ли не физически) уперся в спину Кейт и тычется, будто острый карандаш.

– Мое имя Кейт Уинстон.

– Я знаю, – это Алена.

– Я о вас слышала, – голос Леры.

– Что вам здесь нужно? – обе разом.

– Поговорить.

Не знаю, что им известно о наших с Кейт отношениях именно в этой идентичной реальности. Я и сам сейчас не очень представляю, какие у меня с Кейт были здесь

отношения. Вспомнить не успел, нужно погрузиться в себя и вызвать картинки, сейчас не до этого.

– Поговорить, – повторяет Кейт с вызывающей интонацией.

Продолжает, не дождавшись ответа:

– Я узнала, что Влада будут пичкать каким-то новейшим препаратом. От которого он умрет. Это преднамеренное убийство.

Алена двигает стул и все-таки садится. Я бы не стал – так она оказывается ниже Кейт, неудобная позиция. Может, Алену не держат ноги?

– Для начала, – говорит Алена внешне спокойным, вроде бы даже равнодушным тоном, но я-то ее знаю, как все в ней кипит, она готова перейти на крик и с трудом себя сдерживает. Она всегда произносит слова медленно, сухо и как будто равнодушно за секунду до того, как взрывается и начинает сыпать первыми фразами, приходящими в голову.

– Для начала, – говорит Алена, – вы, может, скажете, какое отношение имеете к моему мужу?

Будто она не знает.

Кейт кладет руку на одеяло – на уровне моего сердца. Чувствует его удары. Будто заряжается от исходящей от сердца энергией. Лера делает движение – видимо, хотела сбросить руку Кейт, но передумала, – возможно, поймала предостерегающий взгляд матери.

Похоже, Кейт в недоумении. Она уверена, что Алене известно о наших отношениях. Неужели вообразила, что я рассказывал жене о нашей связи?

– Вы были аспиранткой мужа, верно? Влад упоминал ваше имя. Кажется, вы написали вместе статью... или две... Я не разбираюсь в инфинитной математике... да и в обычной тоже. Но я ни разу не видела вас в больнице. Вы не считали нужным...

Ладонь Кейт опирается на мою грудь изо всей силы. Становится трудно дышать.

У меня не было аспирантки по имени Кейт Уинстон. У меня вообще не было аспиранток, оба мои аспиранта – мужчины: Брюс и Корвин. Оба регулярно меня навещают, нечасто, примерно раз в три недели, но все-таки. Правда, пользы от их посещений никакой, они никогда не говорят при мне о математике, не сообщают ни одной интересной мне профессиональной новости. Приходят, чтобы отбыть повинность, и говорят о чем угодно, лишь бы быстрее прошло время, которое они отвели для себя на эти визиты. О футболе, о полете Хопкинса на Международную Космическую Станцию, о наводнении в Южном Уэльсе... Ни о чем, в общем.

Кейт сейчас другая, в пределах квантовой неопределенности более близкая к первоначальной бесконечной группе многомирий. Моя аспирантка?

Черт.

Я должен был вспомнить сразу. Эпизод всплывает из подсознания, точнее – выпрыгивает. Неожиданно, как в песне, «когда ее совсем не ждешь», там, правда, о любви, но память выкидывает фортели еще более неожиданные, чем любовь с первого взгляда.

Кейт Уинстон. Почти четыре года назад, в сентябре, явилась ко мне студентка-математичка, крашенная блондинка, лицо невыразительное, удлиненное. Большие, не модные, очки. Типичная англичанка. Но голос... Мисс Уинстон интересовалась инфинитной математикой, хотела сделать темой магистерской диссертации одно из положений теоремы Шведера. Мы побеседовали, девушка показала неплохие знания, она, как я понял, была усидчива и усердна. Помощницей была бы неплохой, но проблема заключалась в том, что я не мог, согласно контракту, брать более двух сотрудников, фонды не позволяли. «Сожалею, – сказал я удрученной девушке, – но...»

Больше я ее не встречал – ни в университете, ни на улицах Оксфорда. Возможно, она уехала, получив степень магистра.

Мне и в голову не пришло соотнести ту Кейт, которую я забыл почти сразу после того, как она вышла из моего кабинета, с Кейт, которую два месяца спустя – в другой

идентичной реальности! – встретил в университетском кафе и которая стала...

Как все-таки трудно вылавливать в памяти нужные обрывки и сопоставлять их с нужной реальностью. Ощущаешь себя стариком с болезнью Альцгеймера.

– Я... – из голоса Кейт исчезают вызывающие нотки, ладонь перестает давить мне на грудь. – Я не приходила, потому что...

– Неважно, – перебивает Алена. – Что вы хотите сказать?

– Я сказала. Нельзя, чтобы Влада пичкали новым средством. Это будет убийство.

Кейт поворачивается к Алене и делает шаг, я слышу, как чуть скользит по полу ее каблучок.

– Вы понимаете, что говорите? – голос у Алены усталый, но беззлобный. Я бы на ее месте... Ее косвенно назвали соучастницей в покушении на убийство. Алена, возможно, впервые сама сейчас осознает, что уговорила Гардинера меня убить. Как Кейт узнала? Неважно.

– Понимаю, – говорит Кейт. – И понимаю ваш мотив.

Вот как? Ей известно о связи Алены и Гардинера? Неужели об этом говорят уже и в университете?

– Мотив? – переспрашивает Алена и, наконец, взрывается. – Послушайте, что вы несете, вы соображаете, что и кому говорите? Уходите! Это возмутительно! Не нужны мне его деньги, я и пенса не взяла бы!

Голос Алены срывается на крик, она встает, быстро ходит по палате, что-то падает – кажется, стул, – а я перестаю понимать что бы то ни было. Какие деньги? Что происходило в этой идентичной реальности? Чего я пока не вспомнил?

Неожиданно наступает тишина. Алена застывает – не могу определить, где именно. Кейт по-прежнему стоит у кровати, я слышу ее дыхание, слабый запах духов, память подсказывает, что раньше она душилась крепкими духами «Фиор», но однажды я ей сказал, что запах мне мешает, он слишком тяжелый, «Какие духи вы предпочитаете, доктор Волков?», «Я бы предпочел бы вообще без духов, но женщины...», «Хорошо, доктор Волков», и с тех пор Кейт если и опрыскивала себя духами, то такими слабыми, что я их почти не чувствовал: ровно столько, чтобы не забывать о своей женской сути, и ровно столько, чтобы мне не мешал запах.

– Я говорила с доктором Гардинером, – сообщает Кейт, предполагая, видимо, что это удар, которого Алена не ждала. Ну, говорила. И Гардинер сообщил ей о том, кто для него Алена? Стал бы он это делать? В этой идентичной реальности Гардинер, скорее всего, не знает ни о какой Кейт, хотя – вспоминаю и поражаюсь, – в иной реальности эти двое не так давно были любовниками. До того, как место Кейт заняла Алена... Господи, как все смешалось... В моей памяти, только в моей памяти.

– Ну и что? – вспышка Алены прошла, ее взрывы обычно так и заканчиваются, она берет себя в руки и продолжает разговор, будто и не собиралась только что отхлестать обидчика по щекам или вцепиться обидчице в волосы.

Неожиданно подает голос Лера.

– Мама, это неправда. Честное слово!

– Неправда – что?

Похоже, мои логические построения были несусветной глупостью, я все представлял в неправильном свете, неверно рассчитывал тензор, не в том направлении производил перемещения, и... Что теперь?

Страшно. Пытаюсь сдержать не нужную сейчас эмоцию. Удастся плохо, и мне кажется, я уплываю из этого места и этого времени, неприятное и ранее не испытанное ощущение. Если идентичные миры станут меняться хаотически в пределах квантовой неопределенности, я не смогу задавать параметры тензора, потеряю контроль над направлением...

Успокойся, – говорю себе и повторяю раз двадцать со всей убедительностью и уверенностью, которой не ощущаю. Тем временем разговор продолжается, и я не имею ни

малейшего представления, сколько и в каком направлении сменилось идентичных реальностей за время моей недолгой паники. Мне кажется, прошло не меньше получаса, пока мне удалось взять себя в руки. На самом деле стрелки биологических часов, в отличие от психологического времени, сдвинулись всего на три секунды, и за это короткое время не произошло – надеюсь! – ничего существенного. Может, даже реальность не сменилась, хотя не могу быть уверен...

– Неправда – что?

Я уже слышал этот вопрос. Время вернулось на три секунды вспять? Это невозможно в пределах одной идентичной реальности, и, следовательно, реальность все-таки сменилось, а в новой отсчет времени чуть сдвинут, квантовый эффект, не нужно волноваться.

Да, это иная реальность, потому что вопрос Алена задает не так, как в первый раз. Не жестким и требовательным голосом, а нерешительно, будто боится получить неприятный для нее ответ.

– Что она сказала? – осведомляется Кейт, и я только сейчас понимаю, что Лера обратилась к матери по-русски. Кейт не понимает русского, только несколько фраз, которым я ее научил... в этой ли идентичной реальности? Кейт знает около двадцати слов и выражений, в том числе «какая свинья этот Калужер!» – фраза, которую я произнес, прочитав статью стэнфордского профессора, где тот доказывал лемму Корина, не ссылаясь на мое уже существовавшее доказательство.

– Что она сказала?

Почему они – каждая – повторяют одинаковые фразы, причем с другой интонацией? Означает ли это всякий раз перемещение в иной идентичный мир, или в моем сознании происходит абберрация, сдвиг в психологическом времени? Психологическое эхо?

– Неправда, – отвечает Лера по-русски, – то, что у меня... неважно.

Лера не хочет говорить, но ей придется. И если она сейчас не объяснит по-русски матери что-то, чего ни Алена, ни я не знаем, Кейт скажет сама, а этого ни Алене, ни Лере очень не хочется – по разным причинам.

Сейчас Алена опять взорвется и выкрикнет: «Что неважно? Что, черт возьми, неправда? Что эта женщина знает такого, чего не знаю я? Что ты от меня скрываешь?»

Наверняка фраза будет короче, в состоянии аффекта Алена бросает только короткие фразы из двух-трех слов, но смысл вряд ли изменится.

Взрыва не происходит. Дверь открывают уверенным движением, я не знаю, кто появляется на пороге, но Лера застывает, у нее прерывается дыхание, сердце делает на мгновение остановку, но это уже игра моего воображения. Кейт переступает с ноги на ногу, Алена опрокидывает стул. Грохот такой, что у меня закладывает уши – любой громкий звук кажется мне ревом взлетающего самолета.

– Добрый день, – спокойно и даже приветливо произносит вошедший и привычным движением закрывает за собой дверь. Не быстро, не медленно – именно привычно.

Гардинер. Вовремя явился, однако. Встреча удивляет его не меньше, чем женщин – каждую в разной степени.

При полном молчании он проходит к компьютерному столу, поднимает упавший стул, ставит на место.

– Вообще-то, – говорит он, – сейчас в больнице тихий час.

Лера нервно хмыкает. Действительно, лежащему на кровати бревну без разницы, тихий в больнице час или громкий. Наверняка Гардинер удивлен не столько присутствием посетителей, сколько тем, что явились они в одно и то же время, будто сговорились.

Я ожидал не его. В этой идентичной реальности прийти должны сначала обвинители: профессор Симмонс и медсестра Куинберн. Им, в отличие от Гардинера, есть что сказать Алене. Гардинер должен был явиться позже – последним. Происходящее мне не нравится, нынешняя идентичная реальность определенно дальше от развязки, чем прежняя, но рассчитывать новый тензор у меня нет времени – могу замедлить свое психологическое время, но для расчета это ничего не даст, вычисления, которые я произвожу в уме, все

равно занимают объективное время, которого у меня сейчас нет.

Слушаю и пытаюсь понять, в чем ошибся.

– Я, пожалуй, пойду, – говорит Алена и делает несколько шагов к двери, но пусть ей преграждает Кейт. Слышу перестук ее каблучков, какие-то звуки, которые не могу отождествить.

– Пропустите меня.

– Нет уж, давайте все выясним здесь и сейчас.

– Дамы, – вмешивается, наконец, Гардинер, голос его звучит, будто доктор стоит ко мне спиной, рассматривает загогулины на экранах. Что он может увидеть такого, чего не видел утром, вчера, неделю или месяц назад? – Объясните, пожалуйста, что тут, в конце концов, происходит.

– Будто вы не понимаете! – Кейт переходит на крик, и тогда доктор показывает власть, здесь все-таки его епархия, больница, не базар.

– Тише, – произносит Гардинер, не повышая голос; напротив, он почти шепчет, но интонация не оставляет сомнений: это приказ, и женщины подчиняются. Алена оставляет попытки покинуть палату, а Кейт (судя по стуку каблучков) переходит на ее место – слева от меня, напротив дочери.

– Только что закончился консилиум, – продолжает Гардинер, и я теряю нить, мое субъективное время будто застывает, а в палате что-то происходит, кто-то двигается, кто-то произносит слова, которые я воспринимаю, как низкий ревуший звук, не обладающий смыслом. Консилиум? Только что? Почему не завтра? Перенесли? И что решено?

Из-за двери слышен приближающийся разговор, слишком тихий, чтобы его расслышали Гардинер и женщины, для них это станет неожиданностью, а я уже знаю, что, возбужденно разговаривая, к палате подходят мужчина и женщина. Обрывки фраз, отдельные слова: «да что вы...», «обязательно внутривенно...», «серый...» Серый или русское «грей» – в смысле «согревай»? Чепуха – какого рожна эти двое стали бы говорить по-русски?

Дверь распаивается, и Симмонс переступает порог. Наверно, из-за его плеча выглядывает миссис Куинберн.

Все в сборе.

Стук упавшего стула. Я больше не ощущаю ладони Леры. Это она так стремительно вскочила на ноги, что повалила стул? Что-то странное нынче происходит со стульями в палате. Постоянно и у всех падают.

Почему я думаю о стульях, когда здесь... Пожалуй, в выборе нужного многирия и идентичной реальности я не ошибся. Пазл собрал правильно, тензор рассчитал верно, могу гордиться расчетом – в уме, на одной лишь интуиции! Будто быстрой чайкой пролетел над гребнями волн, взмыл в сияющую высоту, и бушующий внизу океан более мне не страшен...

Ощущение полета проходит так же быстро, как возникает.

– Прошу прощения, – произносит Симмонс, и я представляю, как он обводит взглядом всех в палате, а миссис Куинберн пытается понять, отчего здесь собралось столько людей. Ее профессиональный долг требует всех прогнать и, если впускать, то по одному. Она что-то бормочет под нос или шепчет на ухо Симмонсу, но тот оставляет ее замечания или придирки без внимания.

– Прошу прощения, я рассчитывал найти доктора Гардинера, но раз все вы здесь, тем лучше, сразу и разберемся, нам есть что обсудить, не правда ли?

Он произносит эту довольно длинную фразу на одном дыхании, после чего переступает, наконец, порог и дает возможность войти миссис Куинберн, которая громко здоровается и закрывает за собой дверь – тихо, очень тихо и медленно.

Мы будто в закрытой консервной банке. Все (кроме меня, естественно) стоят, и я уже не очень представляю – кто где.

Я не любитель детективов. Но и не противник. Мне нравятся логические загадки, в

школе с удовольствием читал Агату Кристи, и сейчас возникает ассоциация: Пуаро собирает подозреваемых в одной комнате, они нервничают, среди них убийца, и сейчас сыщик назовет имя.

Не очень похоже. Пуаро – это я? Знаю, по чьей вине мне предстоит умереть. Но для какой из реальностей я эту правду знаю?

Ничего не могу сказать, не могу ткнуть пальцем в человека. Странная, невозможная, но естественная, тем не менее, ситуация.

Не могу ничего сказать, но, как режиссер, имею возможность направлять разговор так, чтобы... надеюсь, я верно рассчитал тензор... вижу отклонения, но приходится учитывать...

– Вы сообщили миссис Волков результат консилиума? – осведомляется Симмонс.

– Консилиум? – удивленный голос Алены. – Сегодня?

– Вечером Дженкинс и Розетти улетают в Бангкок, – поясняет Симмонс. Гардинер молчит, и, мне кажется, смотрит в окно, изображая безразличие. – Там – возможно, вы еще не видели новости – произошло покушение на премьер-министра, ранение в голову, Дженкинс будет оперировать. Поэтому провели консилиум только что, и я полагал, что доктор Гардинер уведомил вас о принятом решении.

– Еще не успел, профессор, – у Гардинера спокойный голос, он действительно всего лишь не успел. По голосу легко догадаться, что результат в его пользу.

– Так сообщите, – у профессора тоже хорошее настроение, странно.

Все напряжены. Кейт – полагаю, что Кейт, а не Алена – кладет ладонь мне на плечо. Точнее, на одеяло, но я чувствую руку, Кейт хочет быть ближе ко мне, я ее понимаю.

– В клиническом испытании ницелантамина отказано, – сообщает Гардинер с такой интонацией, будто ему это совершенно безразлично. Не подает вида, что его план если не рухнул, то отложен на неопределенный срок. Алена, должно быть, делает большие глаза, она не может сдерживать эмоции, когда в ее судьбе происходит что-то важное. Наверняка сейчас выдаст себя возгласом, движением...

Ничего.

Движение я слышу справа. Рука Леры – как и рука Кейт – опускается на мое плечо. Кейт и Лера с двух сторон будто пригвозждают меня к подушке.

– Нет! – Ладонь Леры с силой упирается мне в плечо. Гардинер это видит и голосом, каким обычно врачи обращаются к испуганному пациенту, произносит:

– Пожалуйста, мисс Волков, не надо так...

– Но папа!..

– Лера, уймись! – Резкий, неприятный, и, в то же время, убеждающий голос Алены. Она, наконец, отходит от компьютерного столика, слышу ее быстрые шаги – слева направо, – подходит к дочери и, видимо, обнимает ее за плечи. А может, все не так, и они стоят, глядя друг другу в глаза – никогда не были так далеки, как сейчас.

У меня появляется шанс! «В клиническом испытании отказано». Странно, но и слава Богу. А может, и не странно – может, расчет и интуиция вывели меня в желаемую идентичную реальность. Разве я не хотел жить? Разве моей целью было обвинение, а не выживание? И при расчете тензора разве я в первую очередь не закладывал именно это обстоятельство? Да, понимал, что практически все будут на стороне Гардинера и его метода, с этим ничего не сделаешь. Но...

Что теперь? Алена и Гардинер. Почему они оба так... неадекватны? И что происходит с Лерой?

И еще Кейт... Я забыл о Кейт!

– Три с половиной миллиона фунтов, – произносит она. – Маяк в ночи.

О чем она? Ощущение, что всем все понятно, и только мне ничего не ясно. Каждый ведет себя совсем не так, как должен был бы. Чего-то я не знаю? Если не знаю, то и в построении тензора учесть не мог. И оказался не в том классе идентичных реальностей, а, может, даже не в том классе многомирий, в каком хотел!

Кто-нибудь объяснит, что происходит на самом деле?

Я потерял контроль над ситуацией. Я не там и не тогда.

Шестеро помещаются в палате с трудом – не то чтобы для них не хватает места, здесь достаточно просторно, от двери до окна шесть шагов Алены и пять – Гардинера, сосчитано много раз. Но все равно мне кажется, будто тела трутся друг о друга, отталкивают друг друга, возникают силы, заставляющие этих людей искать в пространстве положения, максимально друг от друга далекие. Простая, кстати, математическая задача, я решил бы ее в два счета, но сосредоточен на другой проблеме: не математической, а психологической, и понимаю вдруг, насколько я слаб, несмотря на то, что знаю причины...

Знаю?

Если консилиум отказал Гардинеру в экспериментальном использовании ницелантамина, то о чем мне беспокоиться? Потенциальное убийство отменяется. Гардинер должен бы сейчас кусать локти, а он...

– Три с половиной миллиона, – введливый голос повторяет следом за Кейт миссис Куинберн. – Господи, боже мой!

– Можно подумать, – бросает Кейт, – вы этого не знали.

– Я... – бормочет миссис Куинберн. – Знала... Нет...

– Послушайте, – говорит Симмонс, голос его перемещается, он теперь там, где только что стоял Гардинер. Симмонс к нему и обращается? – Вам известно мое отношение – не к препарату, он хорош, и лабораторные эксперименты проведены блестяще, результат обнадеживающий.

– Да? – удивляется Гардинер. – Однако вы сделали все от вас зависящее, чтобы убедить Горрикера и Шустера...

– Естественно, – бурчит профессор. – Полагаете, я мог поступить иначе?

– Пожалуйста! – это Лера. Она плачет? – Я не хотела! Я не...

– Возьми платок, – сухо произносит Алена. Видимо, достает свой и передает дочери: слышу, как Алена чем-то шелестит, Лера всхлипывает, а Кейт (если я не ошибся в направлении звука) нервно вздыхает.

Я не понимаю, что происходит между этими людьми! Я сумел собрать их вместе – здесь и сейчас, – но каждый пришел со своим багажом памяти и ощущений, желаний и поступков, о которых мне не известно, потому что моя память сейчас вряд ли сильно коррелирует с памятью этих людей. С памятьми. Из скольких идентичных реальностей?

Пусть говорят.

– Послушайте, – возвышает голос миссис Куинберн. – Прекратите истерики, а? Мы здесь, как пауки в банке. Три с половиной миллиона, подумать только! Я думала...

– Вы думали, – с нескрываемой ненавистью в голосе произносит Кейт, и миссис Куинберн в испуге делает шаг назад, спотыкается обо что-то, вскрикивает. Стук каблучков, шелест, скрип, а затем звук упавшего предмета, что-то не очень тяжелое, может, сумка.

– Вы думали, гораздо меньше? Да, в прошлом году премия стоила вдвое дешевле, но сейчас фонд пополнился, акции «Сан энерджи» поднялись после Иенского кризиса. Три с половиной миллиона – хорошая сумма, за такие деньги можно и убить?

Почему они говорят о деньгах? Гардинер собирался со мной расправиться, Алена ему помогала (я уверен, что именно Алена?), но деньги не играли роли – романтические чувства, да, безнадежность, да, характер Алены, тоже да... Почему они говорят о деньгах?

– Стоп, – останавливает Симмонс поток слов, когда Кейт, похоже, собирается рассказать о пресловутых миллионах. Я мог бы из ее слов хоть что-то понять, а теперь...

– Давайте сядем и обсудим ситуацию. Неприятно, но если мы сейчас сами во всем не разберемся, будет гораздо неприятнее.

– Мы? – Алена в очередной раз берет себя в руки, голос звучит спокойно; не равнодушно, как перед взрывом эмоций, а действительно спокойно, будто она примирилась с прошлым, настоящим и будущим. – А при чем здесь эта женщина?

На кого она кивает? На Кейт или миссис Куинберн?

– Объясню. – Голос Гардинера. Не спокойный, не взволнованный, не мрачный... вообще никакой. Я бы и не узнал его, если бы был уверен, что в палате присутствует еще один мужчина, кроме Гардинера и Симмонса. Голос человека, разочаровавшегося во всем... Если он успел за это время поругаться с Аленой... Или – предположение не менее вероятное – я переместился в идентичный мир, где у Гардинера возникли с Аленой осложнения. Впрочем, разве это не одно и то же? Разве эти варианты не тождественны, как равна сама себе единица, запиши ее хоть римскими цифрами, хоть арабскими, хоть значками, обозначающими единицу в любой из бесконечного набора систем счисления?

– Как подтвердит присутствующий здесь профессор Симмонс, – Гардинер будто читает студентам скучнейшую лекцию, так нам на третьем курсе излагал квантовую электродинамику профессор Гуляев, замечательный ученый, но никудашный преподаватель, умевший засушить самую распрекрасную теорию, – на консилиуме я выступил против использования препарата ницелантамина.

Странная интонация. Я сказал бы, что Гардинер произносит слова не вслух, а внешней мыслью, но в этой идентичной реальности – вспоминаю! – не существует телепатии.

Чей-то тихий взглас. Кажется, вскрикнула Алена, но голос звучит так глухо и коротко, что я не успеваю определить направление. Это могла быть Кейт. Или Лера. Миссис Куинберн? Вряд ли. Она, вероятнее всего, знала результат консилиума.

Гардинер выступил против использования собственного «достижения»?

– Но как же? – А это точно Лера. – Вы... Не понимаю...

– Видите ли, я был вынужден так поступить, потому что понял: если продолжу настаивать на клиническом испытании ницелантамина, то буду обвинен одним из присутствовавших на консилиуме врачей в попытке заранее обдуманного убийства.

– Одним из... – насмешливо произносит Симмонс. – Вы прекрасно знаете, кто собирался это сделать.

– Вы! – вскрикивает Алена. – Вы обвиняете...

– Ну что вы, миссис Волков, – Симмонс возмущен – Мне только казалось, что я понимаю причину, почему доктор Гардинер хотел начать клинические испытания ницелантамина именно...

– Остин! – Взглас такой громкий, а голос такой неестественно высокий, что невозможно понять, кто выкрикнул имя профессора. Гардинер? Кто еще мог назвать профессора по имени, но мне кажется, что крик раздался со стороны двери, где стоит миссис Куинберн, а ее я не могу заподозрить в подобной фамильярности.

– Но я понял свою ошибку, когда...

– Прошу вас! – Это уже точно Гардинер.

– Тогда вы сами, пожалуйста, – чуть ли не весело отзывается Симмонс. – Не берите грех на душу.

Кто-то громко дышит. Не один человек – несколько. Лера опять берет меня за руку, но теперь это движение меньше всего напоминает о дочерней любви. Пожатие больше похоже на рефлекторное, будто Лера чего-то очень боится и держится за меня, как за вросшее в землю дерево, не позволяющее ей упасть. Мысленно отвечаю на пожатие: конечно, Лера, я с тобой, я ничего пока не понимаю в происходящем, кроме того, что сам выбрал эту идентичную реальность. Хотел вывести на чистую воду человека, который вместе с моей женой хотел отправить меня на тот свет, но, похоже, все было не так, как я предполагал. Мне отказала интуиция, или я ошибся в расчете тензора? Какая, собственно, разница? Что-то не так, и я совсем не уверен, что хочу знать правду. Уже не хочу.

Но и уходить в другую идентичную реальность не хочу тоже, потому что, потеряв уверенность и ориентир, могу оказаться в еще менее понятной ситуации. И страх мой – не тот, что вызывает перемещение. Страх действия отличается от страха понимания.

Лера отпускает мою руку, встает и направляется к двери.

– Извините, – произносит она, – я пойду. Мама, ты со мной?

Мне кажется, вопрос имеет двойной смысл. Слышу движение, шелест юбок (впрочем,

это лишь моя интерпретация звуков). Представляю: Алена обнимает дочь, прижимает к груди, как в детстве, когда Лера прибежала с прогулки в растрепанных чувствах; девчонки во дворе частенько ее обижали. Помню, я поражался, был почему-то уверен, что девочки, в отличие от мальчиков, играют мирно, вежливо...

– Погодите, мисс Волков, – голос Симмонса. – Вам придется дать нам кое-какие разъяснения.

– Я ничего не...

Лера? Почему Лера?

Становится настолько тихо, что я слышу, как в коридоре две женщины (медсестры?) ведут неспешный разговор, не повышая голоса. Слов не разбираю и не могу понять, ведется разговор вслух или в верхнем мысленном режиме. С этим у меня всегда были проблемы: чтобы понять, говорит человек или думает, мне нужно видеть собеседника. Недостаток легко устраним, мама в свое время хотела отвести меня к логопеду, но я уперся, мне было хорошо в своем неведении, мне доставляло удовольствие угадывать, не глядя. В половине случаев ошибался, но детские эксперименты с угадыванием привели меня в седьмом классе к решению серьезно заняться теорией вероятности и принципами биологической индукции. Биологию я быстро забросил, идеи слуховой телепатии показались мне примитивными (так и есть – сейчас слуховая телепатия наукой не признается, биологи согласились с химической теорией переноса), а математика увлекла.

О чем я думаю? Почему вспомнился эпизод из *другой* идентичной реальности, и я не уверен, что из той, где был недавно? Если я не умею управлять собственной памятью, всеми ее ветвями, как я могу быть уверен, что правильно определяю тензор перехода?

Всплеск воспоминаний на пару мгновений вытаскивает меня из реальности, и следующая реплика – ее произносит Гардинер – представляется неожиданной.

– Валерия, – Давно я не слышал, чтобы дочь называли полным именем, – нам действительно надо разобраться. Иначе...

– Иначе – что? – с вызовом спрашивает Лера.

– Я сказала Остину, – голос миссис Куинберн, – что вызову полицию, и пусть комиссар или кто там у них будет в этом деле разбираться, задает свои вопросы.

– Вы!

Это Лера? Алена? Кейт? Возглас раздается с нескольких сторон...

– Мисс Волков, – продолжает гнуть свою линию Симмонс, – вы же понимаете, что шантаж...

Шантаж? Лера?

Кажется, она вырывается из объятий матери, и я слышу... Мне кажется... Звук пощечины. Или... Нет, точно.

– Спасибо, – сдавленным голосом произносит Кейт. Обе ее руки лежат на одеяле, она шумно вздыхает, а запах ее духов становится более резким и, я бы сказал, громким, если это слово применимо к запаху. Волнение усиливает действие некоторых новомодных духов.

Лера ударила Кейт? За что?

– Вранье все это, – говорит Лера. – Гадость.

– Конечно, – соглашается Кейт и сцепляет пальцы: ладони ее по-прежнему лежат на одеяле и давят мне на грудь, но теперь они вместе, эти ладони, мне передается волнение Кейт, мне даже кажется... может, я ошибаюсь... если это мои фантазии, то очень отчетливые... понимаю, обрывками, отдельными словами мысли Кейт. Такое случилось только тогда, когда мы с Кейт были вместе, становились единым целым, к телепатии это не имеет никакого отношения, всего лишь родство душ... Почему-то мысли собственной жены я не воспринимал никогда. Мне кажется – и не хотел.

«Дура, – думает Кейт, – Боже, какая дура. Влад – и такая дочь. Господи, дай силы выдержать эту идиотскую сцену»...

Вслух Кейт спрашивает:

– Ее приятель признался?

– Да, – отвечает Гардинер: вопрос был, видимо, адресован ему.

Они так и будут общаться с помощью междометий, обрывков фраз и взрывов эмоций? Мне придется догадываться о смысле каждого слова? Если бы у меня было время, но, главное, если бы я не терялся сейчас в догадках, то следовало бы рассчитать новый тензор и переместиться в идентичный мир, где тайны или разрешены, или не существуют. Такая идентичная реальность, конечно, существует – более того, таких миров бесконечное количество, на любой вкус, но, вот парадокс, я не ощущаю ни малейшего страха, ничего, кроме любопытства – здесь и сейчас. Эти женщины... Лера, Алена, Кейт... что между ними происходит? А миссис Куинберн? Она-то при чем? Клубок взаимоотношений, симпатий и антипатий, о которых я не догадывался, и, прежде чем принимать решение и уходить в другой идентичный мир, нужно разобраться в этом, иначе я опять применю не тот тензор, и кто знает, в какой идентичной реальности окажусь.

Лера, доченька, скажи что-нибудь.

Молчит.

– Лера, доченька...

– Мама...

И они начинают говорить вместе, перебивая друг друга, недоговаривая, произнося лишнее, у кого-то сдают нервы, кто-то спокоен, но никто во время этого гвалта не двигается, не пытается друг друга ударить или как-то иначе выразить возмущение, а ведь они все возмущены – все! В хаосе звуков не могу отделить реальное от лживого, понимаю, что кто-то лжет, но не понимаю – кто.

Причинно-следственные связи – уж это мне известно, третью и четвертую теоремы никто не отменял! – сохраняются в идентичных реальностях, даже когда меняются действующие лица, происходят иные события; к уже имеющимся причинам и следствиями добавляются другие, квантовые уравнения линейны и при инфинитном анализе. Линейны и аддитивны причины и следствия. Я должен остаться здесь и сейчас, должен, наконец, понять, вышелушить из хаоса слов и мыслей истину: точно знаю, что в потоке терзающих сознание звуков содержится правда, которая мне нужна, в которой я был уверен, но, похоже, ошибся.

– ...Мама, я не хотела...

– ...Послушайте, милая, вы не на суде присяжных, можете говорить правду...

– ...Лера, как ты могла...

– ...А я-то думала, вы мне путь перебегаете, это было бы естественно...

– ...Что с Кеном?

– ...Вот вам ваши либеральные идеи, Остин, видите, к чему это приводит...

– ...Как ты могла...

– ...Господи, кто-нибудь из них хоть раз подумал о Владе? Они все живут так, будто Влад уже умер...

– ...Остин, я хочу попробовать... мне нужен совет Мэг... а если он умрет, то как я...

– ...Кен у главного. Тот, должно быть, вызовет полицию, хотя хочет, конечно, спустить на тормозах, все-таки престиж больницы...

– ...Папа, прости меня...

– ...Если бы Влад все это слышал... Господи, Господи... и эти люди... родная дочь...

– ...Помолчите, прошу вас!

Кто это выкрикнул? Кажется, Симмонс – возглас звучит, как высокая басовая нота в арии дона Базилио. Та, что «И как бомба разрываясь...»

И действительно, будто разрывается бомба: все мгновенно замолкают. Левую мою руку сжимают пальцы Кейт, правую нервно теребит Лера, вцепившись в нее обеими ладонями. Я ощущаю запах духов Алены – даже в смеси запахов ее духи «звучат» одиноко и призывно: помню, как они возбуждали меня в первые дни нашего знакомства, я млея и просил Алёну пользоваться только этими духами, другой запах меня раздражал, а

некоторые ее духи были просто невыносимы. Что меня тогда поразило: Алена выполнила просьбу, и тогда я решил, что сделаю ей предложение. Сделаю, потому что знаю: предложение будет принято. Поступок Алены значил для меня больше, чем слова любви, которые, кстати, даже и сказаны не были.

Последние полгода Алена, приходя ко мне, пользовалась совсем другими духами – видимо, подарком Гардинера, – и это было одним из оснований, почему я решил, что у них роман.

– Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте, договорились? – вполне мирным, но все же не допускающим возражений, тоном, произносит Симмонс.

– Да кто вы такой, чтобы... – начинает Кейт, но Симмонс прерывает ее словами:

– Мисс Уинстон, я – доктор Гардинер это подтвердит – председатель этической комиссии и имею право проводить расследования в случаях, когда администрация больницы не намерена предавать огласке происходящее. Естественно, в рамках существующего законодательства.

Кейт выпускает мою ладонь – не потому, как мне кажется, что хочет это сделать. Судя по движениям, шелесту одежды и запаху духов, Алена вспоминает о своих правах жены. Отойдите, мисс любовница, ваше место не здесь, станьте-ка у окна и не вмешивайтесь, ладно?

Будто одноименные заряды, они стремятся распределиться по площади палаты так, чтобы оказаться подальше друг от друга.

– Ну вот, – с удовлетворением произносит Симмонс, и что-то с грохотом падает. Тяжелое, металлическое – не стул, стулья сегодня уже падали много раз, звук совсем другой. Что же? У меня нет времени подумать над этим, потому что Симмонс продолжает:

– Форс-мажорные обстоятельства заставили меня обратиться сегодня утром к профессору Огдону, и консилиум собрали незамедлительно. Отъезд в Бангкок – только повод, конечно. Я выступил против использования препарата, доктор Гардинер меня поддержал.

Секундная пауза.

– Мисс Волков, слово за вами.

– Я не...

– Как вы собирались поделить три миллиона пятьсот тысяч фунтов, а именно пять шестых от суммы Меллеровской премии, присужденной вашему отцу за работы в области инфинитного исчисления?

Оп-па! В прошлом году Меллера получил – за четыре месяца до *того* дня – Давид Зайдер из Израиля за создание неалгоритмического интуиционистского метода квантового компьютеринга. А в этом году... о-хо-хо... две недели назад... Мне? И конечно, не в такой формулировке. «Работы в области инфинитного исчисления». В новостях по телевизору, наверно, так и сказали. За что конкретно? Две теоремы Волкова? Уравнения идентичных многомирий несоизмеримых классов?

Мне?

Господи...

И если три с половиной миллиона – это пять шестых... Четыре миллиона двести тысяч. Фунтов. В прошлом году сумма была...

Какая разница? Мне. Меллеровская премия.

Почему никто ни разу не обмолвился... А зачем? Чтобы я знал? Чтобы услышало бревно, лежащее под одеялом?

Сильно бьется сердце. Стучит в висках. Фантазии сознания. На экранах наверняка все те же прямые линии.

Что они говорят? Я что-то пропустил?

– Дрянь. – Голос звучит так глухо и отдаленно, что я не могу определить, кому он принадлежит. Взвизгивает женщина. Лера? Шум. Кажется, кто-то кого-то бьет, звуки ударов я слышу отчетливо, это удары не кулаком по столу, а ладонью по лицу, так мне

кажется.

– Дрянь! Дрянь!

– Лера! Пожалуйста! – Алена в панике.

– Мисс Волков!

Кейт тоже отпускает мою руку и, похоже, присоединяется к потасовке. Слишком много движений, слишком много криков, я не могу их разделить, не представляю... не понимаю... не знаю... сознание отказывается анализировать хаотическую информацию, и я чувствую, что сейчас...

Тишина.

Кто-то всхлипывает. Кто-то тяжело дышит.

– Я хотела спросить совета у Томми и Мэг, – безжизненным голосом произносит миссис Куинберн, – но ничего не получилось, они не ответили.

Вот зачем она приходила ко мне. Совет. Как поступить. Жаль, миссис Куинберн, из меня совсем плохой медиум. Понятия не имею, можно ли рассчитать связи между физическими идентичными мирами и духовными. Извините, миссис Куинберн, я не уверен, что нематериальные реальности существуют – этот вопрос не входит пока в сферу применимости инфинитной математики. Извините, что не смог помочь.

– Дрянь...

– Повторяю свой вопрос, – голос Симмонса, – с кем вы предполагали поделить деньги? Кроме миссис Куинберн, естественно, которой вы предложили триста тысяч. Верно, Дороти?

– Да. – Миссис Куинберн произносит это так тихо, что едва улавливаю.

– Послушайте! – Алена еще не пришла в себя от неожиданного открытия (похоже, она шокирована так же, как я). – Послушайте, Валерия не могла... Зачем?

– Сумма немалая, Элен, – произносит Гардинер.

– Но Невил! Она не получит никаких денег! Если Володя... если он... наследую я, верно?

Ох, думаю я. Ох... Вот оно что! Алена не знает. Наш с Лерой секрет. Секрет, о котором я не подумал. Секрет, о котором забыл. Секрет, которому не придавал никакого значения. Вот оно, думаю я. Господи...

Лера поступила тогда в колледж, и мы на радостях отправились с ней кутить в паб «Орел и ребенок», где когда-то проводили время Толкин с Льюисом. Если сидеть лицом к улице, видно здание методистского храма – современного сооружения в стиле модерн, создававшего потрясающей силы контраст с неизбывной стариной окружения.

Алена с нами не пошла – у нее в тот вечер было дежурство на фирме, хотя причину она, возможно, выдумала, а на самом деле отправилась на встречу с...

О чем я? В памяти опять совместились несколько идентичных реальностей. Путается...

Даже погода. В тот вечер было прохладно, дул сильный холодный ветер, от которого нас с Лерой защищали стены, а по небу ползли тяжелые облака, будто кто-то наверху с натугой тащил мешки с картошкой.

Разве? Была прекрасная погода, ни облачка, очень тепло для позднего августа...

Нет времени разделять реальности. И не надо вспоминать, потому что всплывут подробности того же вечера из третьей идентичной реальности и из четвертой... К счастью, физиология мозговой деятельности (в которой я ничего не понимаю) такова, что человек помнит обычно одно свое прошлое (хотя порой и прорываются странные воспоминания, которые отгоняешь), а при перемене идентичной реальности (это происходит постоянно) меняется и память.

Неважно. Говорили мы в тот вечер с Лерой о ее будущем, о моей работе, о том, какая у нас замечательная семья. Почему мне пришла в голову нелепая, как я сейчас понимаю, а тогда показавшаяся оригинальной, идея? Что у меня было за душой? Долг попечительскому совету и не выплаченная ссуда за автомобиль? Неужели я интуитивно понимал, насколько важны исследования по инфинитному анализу? Подсознательно был

уверен, что работа, если будут получены результаты, на которые я рассчитывал, потянет на Нобелевскую? Математикам не присуждают Нобелевку, у нас есть премии, не менее престижные. Филдсовская. Меллеровская. Даже более денежные, чем Нобелевка с ее угасающим фондом. Думал я об этом? Нет, но подсознательно... Иначе чем объяснить, что я взял салфетку (как сейчас помню – с красивым вензелем в виде переплетенных стебельков... нет, без вензеля, и салфетка была не белой, а светло-кремовой... неважно), достал из кармана ручку и набросал текст шуточного (конечно, шуточного, я не думал о премиях, деньгах и особенно – о смерти!) завещания, по которому все оставшееся после меня имущество, движимое и недвижимое, и все деньги, как наличные, так и вложенные в любые счета, акции и облигации, а особенно мое главное имущество – математический талант (в котором я был уверен, этого не отнять!) – я завещаю моим любимым женщинам: жене Елене Николаевне Волковой (в девичестве Резун) и дочери Валерии Владимировне. В пропорции один к пяти. Пять частей Лере, одна – жене. За что я тогда Алену обделил? А за то, что не пошла с нами в этот замечательный паб в этот замечательный вечер. Сама себя наказала!

Шутка. Написал, расписался. Не помню, что стало с салфеткой. Видимо, Лера спрятала бумагу в сумочку. Решила сохранить, чтобы когда-нибудь, когда я стану стареньким, мы будем сидеть у камина и...

Или...

Как бы то ни было, по британскому прецедентному наследственному праву, о котором я, впрочем, знал очень мало, но уж это было мне известно – видел сюжеты по телевизору, да и читал, мне кажется, в каком-то детективе, – завещание считается законным, если написано лично завещателем и заверено его подписью, даже если нет подписей свидетелей и нотариального заверения. Такое завещание, конечно, можно оспорить, но суды обычно иски отклоняют. Или нет?

Не знаю. Но получается, что, если... когда... я умру, Лера получит три с половиной миллиона, а Алена семьсот тысяч фунтов. И это мотив.

Мотив?

Для Леры?

Выдергиваю себя из воспоминаний и слышу громкие голоса – прошло всего две секунды, хотя мне кажется, что вспоминал я минуты три. Конечно, Алена ничего не знает и возмущается.

– Существует, – вздохнув, говорит Симмонс, – завещание вашего мужа, лично им написанное...

– Владик не писал никаких завещаний! – кричит Алена. – Зачем?

Видимо, Гардинер, а может, и все остальные, смотрит на нее с сочувствием. Она понижает голос и через силу произносит:

– Я не знаю ни о каком завещании. Влад никогда... Он не думал об этом...

Быстрые шаги, цокот каблучков по обе стороны кровати. Слишком много людей, не могу разобрать, чьи шаги кому принадлежат. Кто-то вскрикивает – женщина. Кто-то сквозь зубы произносит слово, похожее на ругательство, – мужчина. Кто-то всхлипывает, и я не понимаю – мужчина или женщина.

– Копия, конечно. – Голос Симмонса.

– Откуда это у вас? – Я не узнаю голоса Леры, хотя и понимаю, что спросить может только она. Только у нее есть основание, мотив... возможность?

– Я же сказал. Когда появились подозрения, служба безопасности больницы провела расследование. Невилл как раз закончил лабораторные эксперименты и ожидал решения министерства.

– Откуда это у вас?! – в голосе Леры звучат истерические нотки. Голос доносится со стороны окна, слева от кровати. А голос Кейт я неожиданно слышу справа, только что там была Лера, как-то они успели поменяться местами...

– Я вам потом расскажу, если это так интересно.

– Дайте мне, – твердо произносит Алена, и по легкому движению я понимаю, что ей передают лист, она берет его обеими руками, этот жест мне знаком, можно и не видеть, я и так знаю: любой документ Алена читает, взяв его обеими руками и близко поднеся к глазам. Зрение у нее хорошее, но такова привычка. До лазерной коррекции, которую она сделала в Питере перед отъездом в Оксфорд, у Алены была высокая близорукость, от контактных линз аллергия, а очки носить она не любила, ей казалось, что очки любой формы придают ее лицу лошадиное выражение; глупо, но она так думала. После коррекции видела прекрасно, а привычка осталась.

Алена читает, а я вспоминаю. Больше всего меня веселила приписка: завещаю, мол, свои математические способности. Глядя, как я писал, Лера хихикала – оба мы воспринимали ситуацию с юмором. Поверить не могу, что дочь...

– Где находится оригинал? – спрашивает Алена.

– Это почерк вашего мужа? – задает встречный вопрос Симмонс.

– Да. Конечно. Я хорошо знаю его почерк. И подпись. Так где же оригинал?

– В сумочке у вашей дочери. – У Гардинера усталый голос. – Валерия хочет иметь бумагу при себе, когда я начну использовать ницелантамин. Терминальное состояние могло наступить в течение нескольких часов.

Сейчас Алена возьмет себя в руки и произнесет растерянным голосом: «Как ты могла?» Ей кажется, она хорошо знает свою дочь. Ее Лера не могла поступить так...

А моя Лера – могла? Моя Лера, приходившая ко мне со своими радостями и горестями. Когда-то в каком-то из идентичных миров, я читал, будто девочки духовно ближе к отцу, чем к матери. Мальчики – наоборот. Возможно, это правда – для кого-то где-то когда-то. Я обожал отца, а маму просто любил. С кем был ближе я сам? С отцом – однозначно.

Я все еще не очень понимаю. Что, собственно, сделала Лера? У нее мое шутливое завещание, и, чтобы получить деньги, ей нужно всего лишь ждать, ни во что не вмешиваясь, ведь Гардинер независимо от нее проводил свои опыты и синтезировал препарат. Гардинер независимо от желаний Леры собирался... или не собирался? Несколько часов назад я думал... воображал... мне казалось... да, в иной идентичной реальности, но система причинно-следственных связей не могла сильно измениться при перемещениях, причинно-следственные связи – самая устойчивая база и практически неизменный фактор в расчетах квантовой неопределенности. Разрушь эту связь, убери причины и следствия из уравнений, и в них не останется ничего, что зависело бы от времени.

Я полагал, что это Алена уговорила Гардинера использовать ницелантамин, и Гардинер пошел ей навстречу, потому что они... я так думал!.. хотели моей смерти, чтобы быть вместе. Или это действительно было так в другой идентичной реальности?

– Как ты могла? – с ужасом произносит Алена.

– Можно, я объясню?

Это Кейт.

– Не надо, – тихо произносит Лера, голос ее звучит приглушенно, будто она поднесла ко рту платок. Или отвернулась.

– У вас ведь проблема с вашим мальчиком. – Кейт не спрашивает, она сообщает факт. Откуда ей знать, какие проблемы у Леры с Кеном? Кейт и Леру-то, похоже, только сегодня увидела, а раньше – да, слышала от меня, я много рассказывал о дочери, во всяком случае, в тех идентичных реальностях, которые могу сейчас вспомнить. Мне казалось, что Кейт Леру одобряет. О Кене я с Кейт говорить не мог, Кен появился, когда я уже стал бревном, и дочь сообщала мне о событиях своей жизни так, как сообщают дневнику. Я был для нее тетрадкой, куда она записывала мысли и впечатления – без надежды когда-нибудь прочитать записанное.

– Его Кен Бакстер зовут, верно?

Лера молчит. Молчание – знак согласия? Да, его зовут Кен, спросите меня, я подтвержу. И что?

– Хороший парень, учится на менеджера, – ровным голосом, без эмоций, продолжает Кейт, и я не понимаю, почему Лера покорно выслушивает, почему – такая эмоциональная! – не перебивает: «Замолчите, какое вам дело до моих знакомых?» Она много раз обрывала Алену, когда та пыталась учить дочь, с какими мальчиками ей лучше, правильнее, достойнее встречаться. «Не лезь в мои дела!» А мне рассказывала, я всегда ее поддерживал, даже когда она была не права. Может, потому Лера и доверяла мне больше?

– Но у Бакстера... В общем, он наркоман.

– Откуда вы знаете? – Это Алена. Хотел бы и я спросить то же самое.

Почему Лера отмалчивается? Она никогда не лезла за словом в карман. Молчание для нее так же нетипично, как речь перед микрофоном для монаха из францисканского ордена молчальников.

– Мой кузен Оппи работает в полиции, в отделе борьбы с наркотиками, – поясняет Кейт, и я вспоминаю тощего и длинного, как стебель тростника, мужчину. Как-то мы с Кейт были у него в гостях. Ей нужно было забрать у него... что?... память двоится и даже троится... это была книга с рисунком на обложке: мужчина направил на читателя двуствольный пистолет, а из-за его плеча выглядывает красавица топless. А может – это я тоже помню, – мы пришли не за книгой? Кейт нужно было передать кузену пакет с... чем? Меня это не интересовало, Кейт сказала: «Зайдем на минуту?», и мы зашли – не на минуту, а на полчаса, потому что пришлось знакомиться, потом выпить по рюмке гавайского рома. Кейт поговорила о чем-то женском с женой Оппи Бертой, а мы с Оппи обсудили шансы Харвера на переизбрание.

– Две недели назад, – говорит, между тем, Кейт, и я слышу ее голос сквозь наслоения памяти, – Оппи позвонил мне и сказал... он знал, что я и Влад были...

Пауза. Наверно, Кейт бросает взгляд на Алену, и я могу представить... Или не могу.

– «Послушай, – сказал Оппи, – У твоего Влада есть дочь Валерия, верно?»

Кто-то шумно вздыхает. Алена?

– «Она встречается с Кеном Бакстером, это нам известно, потому что Бакстер находится у нас под наблюдением».

Не хочу слушать дальше. Я знаю, что произойдет. Знаю так же определенно, как если бы слова уже были произнесены. Лера не станет открещиваться – ни от того, что сделала, ни от своего Кена.

Этот сюжет мне понятен, я не хочу в нем находиться. Лере придется расплатиться за свою недалновидность, податливость... я ее понимаю... Думаю о том, что, если уйду в другую идентичную реальность, эта все равно останется, и – здесь и сейчас – продолжится невыносимый для Леры разговор, и произойдет то, чего я не хочу знать.

Или не произойдет?

Среди бесконечного числа идентичных реальностей есть и такая, где Лера не запуталась в собственной лжи.

Кейт уже начала произносить следующую фразу, время в моем сознании замедлилось, психика способна передвигаться в будущее, процеживая настоящее по мгновениям, а может и останавливать время, исключать из ощущений.

Кейт тянет слово, которое, возможно, будет, если Кейт закончит его произносить, означать позор для Леры. Пока Кейт тянет, я успеваю не доказать, конечно, – седьмую теорему не доказать с моими познаниями в физике – успеваю придумать переход, подставляя нужные (полностью полагаюсь на интуицию!) граничные условия в формулу из уже доказанной шестой теоремы.

Следующая фраза Кейт воспринимается, будто схлопнутая в единое мгновение: не слова, произнесенные обычным голосом, а взрыв, всплеск, раскрытие...

– ...Я понимаю, дорогая Валерия, что вас пытались подставить.

Вот как?

Запах духов становится почти невыносимым – может, Кейт низко наклонилась, но мне кажется, она, напротив, отошла от кровати, голос ее доносится издалека. Что-то сломалось

в моем мироощущении, запахи воспринимаются очень сильно – запах мужского пота, это нервничает Гардинер. Или Симмонс. Впрочем, ему-то зачем нервничать?

Баланс ощущений восстанавливается, но не мгновенно. Обращаюсь в слух.

– Боже... – шепчет Лера, и ее перебивает возбужденный голос Алены:

– Послушайте, милая Кейт...

«Милая?» Ну-ну.

Из наложения воспоминаний (сколько идентичных реальностей скопилось в моей памяти?) вылавливаю нужное. Подсознательно, будто делаю шаг в темной комнате, зная, что могу разбить лоб о препятствие, но интуиция подсказывает направление, и я переступаю с ноги на ногу, иду... вспоминаю.

В обычной жизни, бессознательно перемещаясь между идентичными реальностями, мы не запоминаем произошедшего в прежней реальности. Инстинкт самосохранения сознания. Невозможно было бы жить, помня все, что случилось в бесчисленных мирах. Все наши решения, пробы, ошибки.

При сознательных перемещениях память сохраняется хотя бы частично.

– Послушайте, милая Кейт, вы, конечно, лучше меня знаете мою дочь.

Сарказм? Вспоминаю: еще до *того* дня Лера сблизилась с Кейт настолько, что начала доверять ей больше, чем матери. Лера и от меня отдалилась, не так, впрочем, как от Алены, а я не знал что и думать о не очень, вообще говоря, понятной дружбе дочери с моей же любовницей. Мне было приятно или неудобно? Скорее и то, и другое.

Фраза Алены, как это ни ужасно, вполне естественна. Правда, я не предполагал, что Алена в курсе.

Почему нет? В этой идентичной реальности у моей жены, как и раньше, роман с доктором Гардинером, и, хотя она ничего не предпринимала для того, чтобы устранить собственного мужа – при ее характере это ей и в голову прийти не могло, – но все же относится к Кейт с деланным безразличием, как к женщине, которой в будущем предстоит занять освободившееся место жены... и матери?

– Думаете, Лера на такое способна?

– Об этом вы спросите вот эту особу. – Кейт резко оборачивается и указывает на кого-то пальцем (или это мое субъективное ощущение?). Понимаю, что в этом идентичном мире никто никогда не пользовался внешними мыслями... собственно, что это такое? Слова знакомые, но что они означают? Я что-то забыл? Определенно. Не могу помнить все, что происходило во всех идентичных реальностях. При обычных обстоятельствах не помнил бы ни одной. Внешняя мысль?... Нет, не знаю.

На кого показывает пальцем Кейт? Женщин в палате четыре: кроме Кейт, Леры и Алены, только миссис Куинберн, но она-то что может знать о Лере, Кене, наркотиках, завещании и желании кого бы то ни было заполучить три с половиной миллиона фунтов? Палатная медсестра, поклонница нелепого культа связи с потусторонним миром. Возможно, любовница Симмонса.

К какой идентичной реальности относится эта моя память?

Хочу отгородиться от происходящего и вспомнить, сопоставить, почувствовать... Не могу принимать решений, не могу даже оценивать чьи бы то ни было поступки, если не знаю нынешнего прошлого.

Не успев погрузиться в себя, выхватываю из настоящего недовольный мужской возглас. Это Симмонс.

Миссис Куинберн плачет.

– Лера! – Алена (я это «вижу»!) обнимает дочь, а Лера прижимается к матери плечом, они обе, как бывало прежде и чего им не доставало в последнее время, ощущают полное единение друг с другом, а Кейт... Она лишняя.

Как несколько минут назад (в этой идентичной реальности или в другой?), Кейт берет мою руку и крепко сжимает пальцы.

– Глупости это! – восклицает миссис Куинберн.

– Держи себя в руках, – шепчет ей Симмонс, я это слышу, а остальные, похоже, нет. Миссис Куинберн всхлипывает, а потом берет себя в руки и произносит твердым, я бы даже сказал, железным голосом, таким, каким она, вероятно, обращается к сестричкам, которыми командует по долгу службы: «Эмма, вы на тридцать секунд опаздываете со сменой капельницы у мистера Джонсона. Имейте в виду...»:

– Это гнусные слухи, мисс Уинстон!

– Вот как! – восклицает Кейт и сжимает мне пальцы так сильно, что становится больно.

– Вот как! – восклицает Кейт, и я понимаю, что время сдвинулось на пару секунд. Не представляю, как это получилось – скорее всего, я спонтанно переместился в другую идентичную реальность в пределах квантовой неопределенности. Кейт не держит меня за руку, она стоит рядом с кроватью, близость ее тела я воспринимаю, как падающую на меня тень.

– Вот как!

Это будет повторяться снова и снова? Может, я попал во временное кольцо? Ни одна из теорем инфинитного исчисления не рассматривает временных колец, значит, я уже в третий раз перемещаюсь. Страх?

– Послушайте, миссис Куинберн, разве Кен – не ваш родственник? Племянник, сын вашей кузины? Той, что умерла от рака пять лет назад? Как ее звали... А! Вспомнила! Джейн Барстон!

По голосу понимаю (я-то хорошо знаю Кейт, разбираюсь в интонациях ее голоса), что детали жизни миссис Куинберн ей известны. И то, что Кен, с которым в последнее время встречалась Лера, тот Кен, который, похоже, уговаривал мою дочь заполучить три с половиной миллиона, а для этого немного пошантажировать доктора Гардинера, который не хотел, чтобы в больнице знали о романе с женой больного...

Нет.

Воспоминания о двух (или больше?) идентичных реальностях перепутались. Нужно остановить время – мое психологическое время – и разделить воспоминания, рассовать их по идентичным реальностям, иначе я ничего не пойму в происходящем.

Но если я приторможу время, то – это уже случалось, это произошло только что! – скорее всего, перемещусь в другую идентичную реальность, и нужно будто вспоминать опять, а потом еще... бесконечный процесс, который я не смогу контролировать.

Успокоиться. Слушать. Делать выводы. А потом...

Выбрать?

– Кен Бакстер, – задумчиво повторяет Кейт. Миссис Куинберн и не думает отпираться.

– Да! Ну и что? – воинственно заявляет она, и кто-то тихо чертыхается. Мужской голос.

– Кен – наркоман, – продолжает Кейт. По идее, должна возмутиться Лера, я бы возмутился, если бы моей девушке бросили такое серьезное обвинение. Я бы точно возмутился, даже будучи уверенным, что обвинение верно. Возмутился бы просто потому, что нельзя молчать!

Лера молчит, а Кейт продолжает.

– Валерия, я ни в коем случае не хочу... Верю, что вы не знали...

– Я знала, – тихо произносит Лера, и на какое-то время в палате воцаряется такое глубокое молчание, что я слышу, как в коридоре кто-то везет аппаратный столик на колесиках, у этих столиков своеобразный звук, невозможно ошибиться. Сверяюсь с собственным ощущением времени, потревоженным последними перемещениями, но все же способным оценивать реальное время с точностью если не десятка секунд, как прежде, то до минуты – наверняка. Сейчас шестнадцать сорок пять, и через четверть часа медсестры начнут развозить по палатам полдник – кому что, а мне, конечно, ничего, но и сюда кто-нибудь непременно заглянет: проверить и поменять, если нужно, памперс, обтереть влажной салфеткой лицо, в общем, создать видимость деятельности. Значит, в течение четверти часа...

Алена с Кейт могут и не знать об этой послеполуденной процедуре, они не приходили

ко мне днем – нынешний день исключение, – но остальным пятичасовая активность персонала прекрасно известна, в том числе Лере. Они должны понимать, что через четверть часа их прервут, и, значит, нужно поторопиться.

– Знала? – пораженно восклицает Алена, и я по голосу понимаю, что она способна вlepить дочери пощечину, как пару раз бывало в той еще жизни... в той... в какой из? Вспоминаю, как Алена кричала на Леру, когда та вернулась домой под утро, неизвестно где проведя ночь, не предупредив и отключив телефон (так думала Алена, а на самом деле кончился заряд, и Лера забыла подзарядку дома). Не успеваю об этом толком подумать и, тем более, попытаться определить, к какой из идентичных реальностей относится воспоминание – хотя бы, к какому классу: тому, где есть Кейт или где ее нет и никогда не было в моей жизни?

– Кен хороший человек! – упрямо говорит Лера. – Я его люблю.

Она замолкает на секунду и поправляется:

– Мы любим друг друга.

– Но этот хороший человек подбил тебя на преступление!

– Миссис Волков! – Голос Симмонса.

– Елена, пожалуйста... – А это Гардинер. «Елена», хм...

– Это она! – восклицает Лера, и я легко представляю, как дочь тычет пальцем в сторону миссис Куинберн.

У миссис Куинберн не выдерживают нервы, и она кричит:

– Он щенок! Дурак, сам ни о чем не думает! Даже на колеса просил денег у меня!

– Дороти! – Симмонс поражен до глубины души. Господи, как все перепутано. Должен ведь существовать бесконечный класс идентичных миров, где отношения между этими людьми не такие сложные!

– Помолчи, Остин!

– Миссис Куинберн! – Гардинер тоже возмущен – волнуется то ли за коллегу, то ли за себя.

– Помолчите оба! Раз уж мы все здесь собрались, я скажу! А то вы меня за дуру держите, особенно эта...

Не знаю, на кого кивает миссис Куинберн, все молчат, понимая, что она все равно скажет. Понимают, что скажет правду. Понимают, что наступает момент истины.

И я тоже понимаю: момент истины наступает и для меня.

Я знаю, что скажет миссис Куинберн. Я знаю, в чем вина Леры. Знаю, чего хочет Алена. Чего добивается Гардинер. Почему Кейт пришла в зеленых туфельках на высоких каблуках. Я не могу их видеть, но представляю так же отчетливо, как выражение лица Симмонса, которого я не видел и, скорее всего, не увижу никогда, если...

Если я прав.

А я прав, потому что только теперь (интуиция проявляет себя неожиданно: вспышка, взлет, озарение, послание самому себе из бесконечности бесконечностей) отчетливо представляю, как изменить доказательство шестой теоремы, чтобы без невычислимых функций перейти к седьмой, формулировку и доказательство которой вижу, как запись черным фломастером на белой доске.

Мне нужно было собрать вместе этих людей. Или иначе: перейти в группу идентичных миров, где в нужное время (я его вычислил) в нужном месте (там, где находится мое сознание) собрались нужные люди. Те, кто в той или иной степени причастны к моей жизни и возможной смерти. Те, чьи волновые функции перепутаны с моей.

Мои четыре миллиона двести тысяч фунтов не станут мотивом для убийства. Этого не будет, потому что сейчас на Кейт зеленые туфельки на высоких каблуках – зацепка, позволяющая мне удержать нужную идентичную реальность. Ту, в которой...

...Я увидел эту девушку, когда спускался по широкой каменной лестнице, выйдя из здания колледжа Крайст-черч, где прочитал лекцию об основах исчисления бесконечно больших величин. Самую парадоксальную по содержанию лекцию, без понимания

которой студент не воспримет современную математику, не говоря о физике, не способной без инфинитного анализа ни описать, ни объяснить, ни, тем более, создать хотя бы единственный класс многомирий.

На нижней ступеньке я споткнулся, потому что не смотрел под ноги, и, падая, инстинктивно ухватился за чей-то острый локоток. Удержался на ногах, пробормотал «простите» и только после этого понял, что крепко держу за локоть самую красивую женщину в мире... во всех бесконечных многомириях.

Женщина смотрела на меня большими серыми глазами и улыбалась. Она протянула мне вторую руку, и наши пальцы сплелись.

Банально и необыкновенно.

– Вы доктор Волков, – сказала она, улыбаясь.

– Прошу прощения, – пробормотал я, сделав в тот момент выбор и оказавшись в другом идентичном мире, о чем я в тот момент, конечно, не имел ни малейшего представления.

На женщине было открытое летнее платье бирюзового цвета и легкие зеленые туфельки на высоких каблуках. В других идентичных реальностях она в тот день оделась иначе, и наши жизни иначе сложились, но здесь и сейчас случилось то, что случилось.

– Ну что вы, – сказала она и добавила: – Я о вас слышала.

Женщина осторожно высвободила локоть, расцепила пальцы и поднялась на ступеньку выше. Мы смотрели друг другу в глаза, и я подумал, что сейчас сделаю выбор, который изменит мою жизнь.

А я не хотел ничего в своей жизни менять. В тот момент, в том настроении – не хотел. Лера ждала меня в кафе на набережной Айсис, Алена ждала нас обоих дома; на ужин она приготовила жаркое из телятины, мое любимое. Я только что прочитал очень важную лекцию. Я недавно доказал третью и четвертую теоремы инфинитного исчисления и понятия не имел, что получу Меллеровскую премию. День был прекрасен, неудивительно, что мне подала руку самая красивая женщина.

Мы посмотрели друг другу в глаза, и она поняла, и я понял, и мы оба поняли...

– Спасибо, что не дали мне упасть, – сказал я. Хотел что-то спросить, но не стал.

Она кивнула, улыбнулась и стала подниматься по ступенькам. «Увидимся», – подумал я.

– Кейт, подожди! – воскликнула, догоняя ее, девушка – не самая красивая, даже не самая хорошенькая. Просто студентка.

«Ее зовут Кейт», – подумал я, но дальше этой мысли желания не пошли, хотя в бесчисленных вариациях идентичных реальностей в бесчисленных вариациях многомирий...

...о которых мне тогда ничего не было известно...

...на Кейт было открытое бирюзовое платье и светло-зеленые туфельки на высоких каблуках...

...как сейчас и здесь.

Я знаю это, потому что главные теоремы инфинитного анализа доказаны, принципиальные выводы сделаны, и я могу интуитивно выбирать идентичные реальности, не прилагая сознательных усилий – как это обычно и бывает, когда мосты доказательств проложены, и человек начинает жить не разумом, а эмоциями, не логикой, а озарением.

Разве я не понимал этого раньше? Разве не писал об этом в статье, опубликованной пять лет назад в «Философских заметках»? Я дискутировал с доктором Брауном о метафизической сущности идентичных реальностей в многомирии многомирий. Философы тогда крепко ухватились за эту тему, но далеко не продвинулись. Что с них взять: философия, на мой взгляд, всегда отставала от физики в понимании даже единственной реальности. Тем более – бесконечности бесконечностей... В статье я ссылаясь на известное высказывание Ричарда Фейнмана: «Законы природы мы сначала просто угадываем». Интуиция, Инсайт. Озарение. Если использовать правильную терминологию, мы сами из какой-то, пока неопределимой, идентичной реальности подсказываем себе верную формулировку. Потом теоретики наводят мосты, зная

начальную и конечную точки: условия задачи и ответ. Это рациональная сторона познания. Именно она отнимает у научного работника значительную часть времени и сил, а потому – что неверно – считается основой процесса познания.

Пройдя этот необходимый путь, изучив дорогу в совершенстве, ученый должен «забыть» обо всех доказательствах и экспериментах и опять положиться на интуицию, озарение, инсайт.

Закончил я статью романтической фразой: «Представим себе водителя, который, не умея управлять машиной, едет, полагаясь лишь на интуицию, по дороге, вымощенной открытиями. И представьте другого водителя, который изучил свою машину в совершенстве, умеет управлять ею так, что это стало его второй натурой, ушло в подсознание. Этот водитель тоже полагается на интуицию. Оба едут, любясь дорогой, отдавшись движению в неизвестное. От открытия к открытию. Кто едет быстрее?»...

...«Прости, Кейт», – подумал я, но той Кейт, которой я сказал «прости», в этом идентичном мире никогда не существовало.

На какой-то миг я подумал, что стал всемогущим. Я знал, куда хочу выплыть. Я знал, как плыть!

Всемогущество? Да полно. Человек всегда управлял идентичными реальностями, не представляя, что делает именно это. Выбор. Воображая, что выбирает из двух-трех-нескольких возможностей, человек на самом деле погружен в бесконечное количество бесконечно разнообразных идентичных миров. Плавает без руля и без ветрил в бесконечно глубоком океане, расположенном в другом бесконечно глубоком океане, который, в свою очередь, находится в третьем... до бесконечности.

Я могу выбрать идентичный мир, не задумываясь о выборе. Я – водитель, «который изучил свою машину в совершенстве, умеет управлять ею так, что это уже стало его второй натурой, ушло в подсознание». Никто, кроме меня...

... – За дуру держите, – заканчивает фразу миссис Куинберн.

– Дороти! – пытается урезонить ее Симмонс, похоже, с помощью силы: слышу звук короткой возни, гневный возглас – и наступившая тишина свидетельствует о чьей-то победе. Симмонс? Кейт?

Я хочу услышать, что скажет миссис Куинберн. Конечно, ее объяснение годится для избранной бесконечности идентичных миров, которую я могу мысленно обозначить одним из символов, принятых в инфинитном анализе. В другом наборе идентичных реальностей главное слово принадлежит Алене. Существует бесконечный набор идентичных миров, где события объясняет Лера.

Я знаю, что скажет миссис Куинберн, но мне любопытно послушать – как иллюстрацию доказательства теоремы, еще недавно казавшейся мне недоказуемой, а ныне принадлежащей к типу теорем, которые доказываются группами, причем каждая группа включает полиморфические описания бесконечного количества идентичных миров с заданными количественными параметрами, которые...

Стоп.

Миссис Куинберн в который раз повторяет: «...за дуру держите...», а я, вместо того, чтобы слушать, рассуждаю на абстрактную тему разделения шведеровских бесконечностей.

Симмонс бурчит что-то себе под нос. Кейт бросает: «Ну, послушаем». Лера произносит «Не надо... пожалуйста».

– Их прибрал Господь. Двое. У меня были дети. Томас и Меган.

Миссис Куинберн говорит отрывисто, короткими фразами. После каждой делает паузу, набирает в легкие воздух и следующую фразу будто выплевывает, так и кажется, что, подобно упругим шарам, слова перелетают по воздуху от одного человека к другому, отскакивают от Симмонса, ударяют в лоб Гардинеру, отлетают к Алене... Фразы сталкиваются друг с другом, и я уже не знаю, какая была произнесена раньше, какая позже, какая – вот удивительно! – не произнесена вовсе, но все равно оказалась в этой

мешанине, где смысл заменен действием, а действие бессмысленно. Какой – для меня? – смысл в том, что сделала эта женщина?

– Я не могла без них жить. Они были такие хорошие. Почему Господь прибрал их? Кен познакомил меня с Остином (Остин – это Симмонс? Любопытно, я-то думал, что с Симмонсом и Гардинером миссис Куинберн познакомилась здесь, в больнице Джона Рэдклиффа, по долгу службы). Лечилась в клинике Шелдона...

Расставляю фразы во времени, чтобы было удобнее разбираться в смысле. Похоже, какие-то детали я все-таки упустил, что естественно, если они распределены в пределах квантовой неопределенности.

Давайте сначала, миссис Куинберн.

– У меня были дети. Двое. Том и Мегги. Они были такие хорошие. Почему Господь прибрал их? Я не могла без них жить. Болела. Лечилась в клинике Шелдона. Кеннет – племянник – меня навещал. Познакомил с Остином. Остин Уиплоу – наш главный в Духе (так-так, Остин – не Симмонс, просто имена совпали, Остин – глава секты «разговорщиков» с потусторонним многомирием). У меня появился смысл жизни. Говорить с Томми и Меган. Потом меня тоже призовет Господь. И мы будем вместе. Там.

Надо же... Двадцать первый век. Торжество инфинитной математики. Бесконечные наборы бесконечных типов многомирий. И такое невежество. Впрочем... Аксиоматические системы инфинитной математики не вполне разработаны. Может ли быть... Потом. Продолжайте, миссис Куинберн, я вас слушаю.

Мы все вас слушаем.

– Говорить с ними можно. Но только через людей в коме. Чем глубже кома, тем сильнее связь. Если кома приводит к смерти, связь самая сильная. В часы, предшествующие смерти.

Хорошо излагает. Не задумывается о впечатлении. Каждый человек играет роль, а миссис Куинберн долгие месяцы играла роль недалекой и исполнительской медсестры, чтобы получить доступ в палаты таких, как я. Сколько нас в клинике? Насколько могу судить по разговорам – девять человек. Я – самый сложный случай. Безнадежный. Идеальный медиум, да...

– Кен познакомил меня с Остином (Опять Остин – теперь-то, наконец, Симмонс?). Остин, я все равно скажу, помолчи. Профессор помогал Кену с наркотиками. (Надо же, а я грешил на Гардинера). Я взяла Остина в оборот. Не так-то это оказалось трудно. (Симмонс опять пытается вмешаться, но, похоже, его успокаивает Гардинер.) Так я получила доступ в палаты коматозников. Но связь была плохая. Я почти ничего не слышала. А Том и Меган почти не слышали меня. (Она действительно слышала голоса умерших детей, или это игра больного воображения? Если все-таки рассмотреть возможность... Придется переформулировать третью теорему. Ну-ну. Мне за нее присудили Меллеровскую премию, а я собираюсь доказать, что прежнее доказательство неверно. А как же аксиома идентичности реальностей?) Последняя надежда – Волков. Но сколько ждать? Он может до терминального состояния пролежать бревном двадцать лет. (Спасибо за бревно, миссис Куинберн!) Или вообще до глубокой старости, как Монтегю. Я узнала об экспериментах доктора Гардинера. Благое, богоугодное дело! Для безнадежных коматозников. Из наших больных безнадежным признали только Волкова. Но доктор...

Она делает паузу. Идентичная реальность меняется. Я это чувствую. Интуитивно (теперь я это умею без ощущения страха) выбираю из бесконечного числа идентичных миров группы (тоже бесконечные), более соответствующие моему психологическому состоянию, а дальше действуют законы бесконечно больших чисел и случайного отбора в пределах квантовой неопределенности.

Короче говоря, принцип самосохранения. Желание – эгоистичное – сделать лучше себе. Оказаться в лучшей из идентичных реальностей. Не хочу, чтобы Алена была с Гардинером. Но помню, что она с ним была, не хочу лишать себя этой памяти (странно все-таки устроена психика!) и потому выбираю группу идентичных реальностей, где

Алена и Гардинер... но это у них в прошлом. Только в прошлом. В памяти.

Дальше, мисс Куинберн, я слушаю. Все слушают.

– Доктор Гардинер – большой ученый (попытка подхалимажа? Искреннее мнение? Желание оградить себя от возмущенных возгласов доктора?). Слышала про его опыты. Но он не собирался переносить на человека. Значит, ждать?

Она не хотела ждать. И что же?

– Я не могла ждать. Остин сказал, что доктор Волков, оказывается, не простой больной, он великий физик и математик, ему совсем недавно присудили самую престижную научную премию. Меллеровскую.

Длинная фраза, могу представить, как трудно было миссис Куинберн произнести ее, не сбившись. Я вставил фразу между «не могла ждать» и «меллеровскую», как вставляют фрагмент огромного пазла точно в предназначенное для этого фрагмента место. Я доволен. Хорошая работа.

Из мешанины фраз, которые приходится слеплять, понимаю (нет желания расставлять слова во времени), что миссис Куинберн – хороший манипулятор. Есть такая категория людей, встречал. Не часто, но все же. Ничего собой не представляют, но умеют («так природа захотела, а зачем... не наше дело») подсказывать другим линии поведения, наталкивают на определенные мысли, и человеку кажется, будто он сам пришел к решению, к действию, выгодному вовсе не ему, а манипулятору.

Вот оно как.

Милые и ни к чему вроде не обязывающие ночные разговоры с Гардинером в ординаторской. Ничего личного, все знают, что у медсестры небольшой роман с Симмонсом, Гардинер тоже знает. «А жена Волкова... Элен. Вы видели, как она на вас смотрит? Вы для нее бог!» Мужчине приятно, мужчина (раньше он этого не замечал?) обращает внимание на красивую и умную жену своего больного. Слово за слово... Но Алена-то, Алена... А что Алена? Что она понимает в коматозных состояниях и, тем более, в новых лекарственных препаратах, над которыми работает замечательный человек, доктор Гардинер?

Препарат дает три процента надежды. Всего лишь? Не *всего лишь*, а *целых* три процента! Пожалуйста, доктор, на вас последняя надежда!

Гардинер не стал бы торопиться. Кто лучше него понимает все плюсы и минусы? Не стал бы, несмотря на все красноречие Алены. А все-таки, было у них что-то или нет? В каких-то идентичных реальностях – было, это предположение находится в пределах квантовой неопределенности. Мне ли не знать, о чем думает моя жена, глядя на красивого, умного, здорового... да, черт возьми... здорового мужчину? Помню, какие взгляды Алена бросала на мужчин, а когда я ревниво (чаще, впрочем, в шутку) спрашивал, почему она страстно посмотрела на господина N, жена со смехом отвечала, что я-то сам со смыслом, вполне определенным, бросил взгляд (будто случайно!) на госпожу M, которая, кстати, лесбиянка, разве ты не знал?..

Все же, было у них или... Да, ну и что дальше?

А дальше – мое шутовское завещание, лежавшее в сумочке у Леры. Салфетка, которую миссис Куинберн случайно подобрала – сумочка как-то упала на пол... А медсестра не то чтобы любопытна, но ее уже интересовало все, связанное с лежащим в коме Волковым. Что там, на салфетке, написано? Любопытно: завещание. Да много ли оставит дочери этот физик-математик, ученые люди небогатые.

Бумагу миссис Куинберн, конечно, кладет назад в сумочку. Сумочку, конечно же, вешает на спинку стула – там она и висела, пока не упала случайно, когда Лера задела ремешок локтем, выходя из палаты.

Миссис Куинберн произносит слова все быстрее, разбрасывает их все хаотичнее, и я понимаю: это не она, это я мечусь из реальности в реальность, захватывая речь на разных стадиях в пределах неопределенности. По идее, вот идеальная возможность определить (раньше не получалось!) экспериментально величину квантовой неопределенности. Очень

интересная задача, наверняка эти данные, если привести их в систему, помогут доказать восьмую теорему.

Но мне не до того. Инстинктивно я сильно сплюснул интервалы времени, мне это самому мешает, миссис Куинберн говорит очень быстро, и я с трудом поспеваю расставлять фразы в правильном порядке. Я еще и не уверен, что порядок правильный.

Успокоиться. Для начала – восстановить в сознании обычную скорость восприятия времени.

Вроде получилось.

Теперь проще переставлять фразы – они сами, будто солдаты на плацу при команде: «Стройся!», занимают нужные места.

– Как-то по телевизору сказали, что присуждена премия. По математике. Высшая, какая только бывает. Меллеровская. Четыре миллиона двести тысяч фунтов. Я слушала невнимательно, что мне до премий? Назвали имя – Владимир Волков. И чтобы я совсем стала уверена, что это он, сказали, что жаль, мол, сам Волков, скорее всего, так и не узнает о премии. Тогда я вспомнила о завещании. Вспомнила, что дочка его встречается с моим племянником. Он лопух. Для него эта девица просто одна из подружек...

Лера, похоже, не выдерживает, я слышу звонкий удар, вскрик, возню. Лера вlepила миссис Куинберн пощечину, а та предпочла не отвечать, голос ее отдаляется, но фразы не перестают набегать одна на другую. Мне не до того, чтобы разбираться в ощущениях Леры – она ведь думала, надеялась... она по-настоящему любила этого... да он и не негодяй, просто молодой оболтус, которым командует тетка.

– Доктор Гардинер так бы и возился со своим препаратом и со своими мышами-крысами-обезьянами до второго пришествия, – миссис Куинберн произносит фразы все более длинные – есть и тут пространственно-временное ограничение, то ли по величине неопределенности, то ли по сжатию временных интервалов, надо это обдумать, но потом... потом... – Тогда я поняла, что могу. Наверно, получится. И даже если что-то пойдет не так, я останусь в стороне.

– У этой... – видимо, медсестра кивает в сторону Алены, я слышу, как та сквозь зубы дважды произносит «дрянь». Да, дорогая, миссис Куинберн еще та штучка, но она всех вас обыграла, верно? И то, ты, милая моя жена, спуталась таки – теперь у меня нет сомнений – с доктором. Тебе ведь не приказали, верно, сама захотела?

– У этой свои соображения, почему мужу непременно нужно давать новый препарат. У дочки... – Теперь миссис Куинберн кивает в сторону Леры, та молчит, я знаю: ни на кого не смотрит, ее вроде нет здесь и сейчас, ей все противно, она сама себе противна, ей хочется остаться одной... в каких-то идентичных реальностях она сумела остаться одна, но сейчас я не могу... Извини, доченька, придется тебе послушать... сама виновата... не ожидал от тебя.

– У этой, – повторяет мисс Куинберн, будто заплетая время косичкой; слова наматываются сами на себя, – свои желания. С Кеном. Три с половиной миллиона – большие деньги, верно, девочка? А чтобы их получить, нужно убедить доктора. Мама его убеждает. Дочка его убеждает – немного шантажа, верно? Я молчу, вы обе – мои невольные помощницы. Доктор обращается в министерство за принципиальным разрешением. Формальность, но он и на нее не решался, пока вы две ему мозг не проели. Он надеется, что ему самому не придется принимать решение. Решать будет консилиум. Конечно, главное мнение – у доктора. А доктора поддержит профессор. Да, Остин?

– Дороти, – устало произносит Симмонс, и я не сразу нахожу, в какой интервал времени вставить его реплику. Вставляю после вопроса миссис Куинберн.

– Дороти, зачем ты это говоришь? Мы не в полиции, и никто не проводит допроса.

– Да? – взрывается миссис Куинберн. – Не в полиции, говоришь? Все! Вы! Будете! Там!

– Что ты говоришь, Дороти?

– Мужчины! Двое! Лучшие врачи клиники! Не смогли убедить остальных! На консилиуме! Да вы оба в последний момент просто испугались ответственности!

– Это не...

Симмонс хотел сказать, что это не так? Или начало его фразы относилось к чему-то другому, а я интуитивно вставил реплику после взволнованного возгласа миссис Куинберн? Неважно. Вставляю сразу после незаконченной фразы профессора вполне законченную и даже, я бы сказал, витиеватую фразу Гардинера, расставляющую точки над i:

– Да ладно, Остин, извини, что я так к тебе обращаюсь при посторонних, но сейчас мы все тут, как пауки в банке, давай без условностей, и я тебе скажу, Остин, что эта женщина права в том смысле, что нам всем придется иметь дело с полицейским расследованием, поскольку, как ни крути, имело место несанкционированное применение ницелантамина, и, пожалуйста, Остин, не смотри на меня волком, я отдал распоряжение медицинской сестре, дежурившей утром, записал в журнале назначений, ницелантамин был добавлен в состав лекарственного состава до начала консилиума, сейчас ничего уже не изменить, понимаешь ли, и если ты или кто-то другой спросит меня, почему я так сделал, прекрасно понимая, что, в случае смерти больного непременно будет назначено сначала административное, а потом, после обнаружения грубого нарушения медицинской процедуры, полицейское расследование, да, я все это понимал, сейчас просто довожу до вашего сведения и не собираюсь объясняться, во всяком случае, не здесь и не сейчас, скажу только, что победителей не судят никогда, а проигравших всегда, какими бы высокими мотивами не были вызваны их действия, а мотив у меня был и остается один-единственный: не рискнешь, не станешь победителем, а рискнешь – можешь и проиграть, и мне плевать на то, что мне пыталась внушить миссис Волков, и плевать на мотив мисс Волков, и, тем более, мне нет никакого дела до мотивов миссис Куинберн, а ты, Остин, просто слабак, и даже если я проиграю и больной умрет, все равно это будет моя победа, потому что жизнь – это риск. Кстати, для него тоже.

Я понимаю, что Гардинер кивает в мою сторону. А может, показывает пальцем в заключение длинной тирады, и все разом начинают говорить, кричать, плакать, восхищаться, занудствовать; разделить этот звуковой хаос, расставить во времени фразы, чтобы хоть что-то понять в эмоциях, я не то чтобы не в состоянии, легко могу это сделать, но не хочу.

Мне страшно. Пусть Гардинер сколько угодно убеждает себя и других, что убил меня ради прогресса медицины. Чтобы не умирали другие больные, лежащие в тяжелой коме.

Через какое время начинает действовать препарат? После замены утренней капельницы прошло семь часов.

Я не хочу!

Кейт! Почему ты все это время молчала или только тихо плакала? Я чувствовал тебя, твои слезы, твою любовь... я не хочу... я...

И нет никого, кроме...

Тишина. Не слышен даже привычный и проходящий мимо сознания звук работающей аппаратуры. Не слышу ударов собственного сердца. Ничего.

И нет запаха духов – самого надежного индикатора, по которому я легко определял, где стоит Алена, близко ли от меня Лера, здесь ли Кейт, а мисс Куинберн духами не пользуется, медицинские сестры на работе не должны пахнуть, как розарий.

Нет ничего. Только мое запуганное сознание, и я понимаю, что идентичная реальность моей жизни именно сейчас становится тем миром, к которому я шел, множество раз за эти часы выбирая дорогу в бесконечности бесконечностей многомирий.

Я шел к тебе, Кейт. Только ты меня не предала. Ни в одном из идентичных миров. Ни в тех, где мы лишь обменялись парой фраз и прошли мимо друг друга. Ни в тех, где мы почти два года были вместе. Даже в тех, где ты была с Гардинером. Ты вернулась, и я тебя люблю, Кейт, а ты любишь меня.

Возвращаются звуки. Возвращаются запахи. Возвращаются ощущения.

В идентичном мире, где ты со мной, Кейт.

За плотно закрытыми окнами шуршат шинами по асфальту автомобили, и совсем рядом, на расстоянии протянутой руки, плачет женщина. Различаю тонкий запах духов, мой любимый запах, я подарил Кейт флакон на позапрошлом Рождестве, а на прошлое уже ничего подарить не смог, потому что выпал из жизни, стал бревном, и ты одна приходила ко мне каждый день, стараясь выгадать время, чтобы не застать ни Леру, ни Алену.

Кейт.

Она одна в палате. Я чувствую себя богом. Могу усилием мысли перемещаться между любимыми интуитивно выбранными идентичными мирами. Я стал умелым водителем, асом, способным вести машину собственного сознания по бесчисленным дорогам-мирам многомирий, не глядя на приборные панели, не трогая руль – только ощущая, желая...

Кейт плачет – она никогда не могла сдержать слез, приходя ко мне, клала руку поверх моей (как сейчас), целовала в лоб (да, так) и в губы (о боже...), шептала слова, которые я впитывал, не стараясь понять, потому что слова могли быть любимыми: новости, сплетни, уверения в любви, стихи, цитаты из научных статей. Кейт была уверена, что я все слышу, все понимаю, и когда-нибудь...

Я могу выйти из комы. Могу это сделать прямо сейчас.

Это никак не связано с ницелантами, ради испытания которого Гардинер пошел на риск поражения, чтобы ощутить победу. Я доказал восьмую теорему инфинитного исчисления. Я могу интуитивно выбирать идентичные миры моей жизни. Миры, в которых я счастлив. С Кейт.

Я открою глаза и встречу взгляд любимой женщины.

Но...

Я выйду из комы, увижу мир, смогу жить, как все люди.

Но забуду все, что происходило в эти двести тридцать семь дней. Забуду о предательстве Алены. Забуду о слабости Леры. О миссис Куинберн, хотевшей услышать голоса своих умерших детей. О бесконечном множестве идентичных миров – временных остановках на моем пути. О доказанных теоремах. О том, что я вообще могу их доказать. Свои способности, свою интуицию, непрерывное состояние инсайта, озарения – я утрачу тоже.

Забуду, как перемещать сознание между идентичными реальностями. Забуду, что это вообще возможно. Утрачу так много, что лучше мне оставаться...

Бревном? Для всех, в том числе и для Кейт?

Кейт будет приходить ко мне, класть свою ладонь поверх моей, целовать меня в губы, шептать «я тебя люблю», и ощущение счастья не позволит мне осознать, что так будет не всегда. Однажды Кейт не придет. Однажды она встретит...

Не хочу думать об этом.

Такова жизнь. Такова жизнь везде, в любом из бесконечного числа бесконечных наборов идентичных миров.

В любом из них я когда-нибудь останусь один – будут проходить годы, а я...

Но я смогу доказать все теоремы инфинитного анализа. Интуиция позволит мне сделать в науке то, что ни я, и никто из моих коллег не сделаем в реальной жизни.

Но кто будет знать об этом?

Вернувшись в мир, я, возможно, забуду даже то, почему оказался в клинике. Забуду *тот* день, *тот* перекресток.

Забуду все, что помню сейчас о мире, где Алена готова была на любой риск, только бы увидеть, как я открываю глаза. И о мире, в котором Лера любит своего Кена, незадачливого и глупого, но самого родного и хорошего. И о мире, в котором Лера спрятала в сумочке шутовское завещание, не предполагая, что когда-то оно ей пригодится.

Не хочу забывать ничего.

Но мне не известно ни одного случая, когда бы человек, вышедший из комы, помнил каждое мгновение, каждую мысль, каждое слово, каждый запах в той своей жизни, которая для других не существовала.

Но я смогу быть с Кейт. Смогу бродить с ней по берегу Темзы, которую в Оксфорде называют Айсис, мы будем целоваться в лучах заката, снимем квартиру на Дайв-роад, где я всегда мечтал поселиться. Лера поймет, дочь всегда меня понимала, она будет счастлива с Кеном, а Алена... Наш брак давно стал просто ширмой, он все равно распался бы. Нам не нужно будет лицемерить, и мы останемся... надеюсь... друзьями.

Я смогу вернуться в свой кабинет в университете. Ничего не буду помнить, но какие-то ошметки интуиции, доступной мне сейчас, возможно (надеюсь!), останутся, и я – Меллеровский лауреат, этого никто не отнимет! – попробую еще раз доказать хотя бы малую часть того, что сейчас мне и доказывать не нужно.

Может быть.

Скорее всего – нет.

Согласен ли я – забыть? Хочу ли – помнить?

Кейт кладет ладонь мне на лоб, нежно проводит большим пальцем по надбровным дугам, касается щеки, и я слышу ее шепот:

– Влад, ты слышишь меня? Я знаю, ты меня слышишь.

И после небольшой паузы:

– Я люблю тебя, Влад.

Как принимаются самые важные в жизни решения? Разумом, взвешивающим варианты и не способным оценить их во всей бесконечной сложности идентичных миров, где эти варианты реализуются? Может, выбирают всегда эмоции, а разум лишь подгоняет решения под уже выбранный ответ?

Вернувшись из небытия, узнаю ли я эту женщину?

...выбрать свой путь...

И нет никого, кто решил бы за меня.

...Открываю глаза.